

П Р О З А

Ворис Димитров

М Я С О

П О В Е С Т Ъ

/Из цикла: "Правила игры"/

До сих пор все складывалось удачно, так что, когда в районе Скипидарского Протока я наткнулся на десантников, встреча неприятно удивила меня. В принципе, в этом не было ничего странного, но, когда твердо идешь по земле или в каком-нибудь другом месте, где, как ты уверен, никто тебя не видит, так что поневоле расслабляешься и начинаешь вести себя естественно: (напевать песни, стрелять разные гримасы, или разговаривать сам с собой), неожиданное появление посторонних людей всегда настораживает. Особенно, если это люди с автоматами, особенно, если ты не увидел их издалека, а вдруг, пройдя между двух довольно близко лежащих оцинкованных листов, и обогнув один из них с правой стороны, нелетая на них, как заяц на охотника. Я, несмотря на то, что о такой возможности я был честно предупрежден офицером, мне стало неприятно.

От неожиданности я сначала остановился. Потом, предождев замешательство, пошел мимо них. Они, казалось, не обратили на меня никакого внимания. Вернее, это не совсем так — они, конечно, оба посмотрели на меня, но так, как будто я был вполне обычной фигурой, просто прохожим, ничем. Вообще-то так бы оно и было, если бы прохожие часто встречались в этом районе, но это все были холмы, место безлюдное, дикое, не слишком живописное, чтобы здесь гулять, и по собственной инициативе я бы сюда не пришел. Поэтому мое появление должно было бы удивить или заинтересовать их; я ожидал, что они, по крайней мере, остановят меня и потребуют предъявить документы, но они просто не обратили на меня внимания, никак не реагировали, и только, когда я прошел, невольно взглянув на них, один из них что-то шепнул другому на ухо, и оба засмеялись. От этого мне стало немного не по себе, но я сделал вид, что ничего не заметил.

Всобще они стояли у четырехугольного деревянного барьера, облокотившись на него, на жесткой убитой площадке, а за барьером, вокруг гладко отполированного столба,

были горой навалены какие-то защитного цвета тунки. Их было двое (я имею в виду солдат), и им, очевидно, нечего было делать, поэтому можно было предположить, что кто-нибудь из них ради любопытства или так, для развлечения, остановит меня, но они меня не остановили, и я прошел себе мимо, как будто ничего не случилось. Строго говоря, ничего и не случилось— просто вышел на пост десантников и все. Не запрещено же десанникам расставлять свои посты? Мне до этого не было никакого дела. Я пошел своим путем, и скоро пост десантников скрылся за холмами.

Я еще немного прошел и сел на какой-то бугорок, так как мне нужно было кое о чем подумать. Я сел на бугорок и стал об этом думать.

"А не пойти ли мне напрямик?— подумал я. — Прямо напрямик. Может быть, так будет лучше, уж во всяком случае, короче. Так, для напрямик, я мог бы довольно быстро добраться до Тихоженска. Сравнительно быстро, потому что место все-таки холмистое, и дороги, в сущности, никакой нет, так, отдельные тропинки, которые то там, то здесь попадутся на пути; этих разрезанных тропинок довольно много здесь, трудно сказать, откуда они берутся, но их здесь много встречается, и, как бы то ни было, а они облегчают дорогу. Да, конечно, быстрее всего, вероятно, было бы напрямик. Да, конечно..."

Я задумался.

"В конце концов, ведь и жена ждет меня дома. Нехорошо заставлять жену ждать. Ведь я по опыту знаю, как неприятно и беспокойно ждать в назначенному часу: если кто-то задерживается, опаздывает, начинаешь тревожиться, думаешь: не случилось ли чего; дальше волнуешься, переживаешь, ходишь по комнате вперед-назад и от волнения и ожидания не можешь ни за что взяться. Даже читать и то не можешь: возьмешь книгу и тотчас положишь ее на место, а то и так бросишь. Это всегда неприятно, а уж моей жене с ее нервами и подавно.

А на станции садиться в вагон гораздо удобнее, чем на

ходу, хоть и на подъеме. Пригаты на ходу — хорошенькое дело! Да и кондуктор будет медовелен. А потом, я же заплатил за билет?! Вот он, в кармане, — я нащупал картонный прямоугольничек. — Действителен в течение двадцати четырех часов. Так что же еще? Что мне, я не понимаю, прыгать на ходу? Это противоречит здравому смыслу. Да нет, в принципе, напрямик во всех отношениях удобнее."

Я встал и пошел по склону, по извилистой тропинке, вверх. Я все никак не мог принять решения, ни того, ни другого.

"Осмотрюсь, — подумал я, — осмотрюсь, а там и приму решение."

Взойдя на вершину холма, я остановился. Передо мной, насколько я мог видеть, лежали холмы. Не очень высокие и не очень крутые, а скорей пологие (просто эта местность была такая холмистая), пустыне, поросшие редкой травой какого-то безразличного цвета, тоже вроде защитного. Впрочем, это было общее впечатление, потому что трава кое-где была и зеленого цвета, встречалась и какая-то серо-голубая мохнатая травка, а местами небольшими группками и желтые головки облетевших опушанчиков, — но в целом эти холмы казались какими-то бурными, нет, именно защитного цвета, "хаки" или как он там называется, и только тропинки были желтоватыми, но вдали они становились тоньше, и дальше их совсем не было видно — там уже все было бурным. Да и небо было какое-то, хоть и безоблачное, хоть и голубое, но и голубизна была бледной, и солнце не было видно, хоть и нельзя было сказать что пасмурно.

Вообще все были холмы и холмы, и только где-то впереди, на одном из них, на обращенном ко мне склоне, был виден какой-то двор с длинными крышами, из-за которых торчала высокая, как на фабрике или на заводе, и, вероятно, кирпичная труба. Весь этот двор был обнесен забором, кажется, деревянным. Если глядеть направо, там, уже совсем далеко, из-за холмов, поднималась водонапорная башня. Я знал, что за этой башней, немного дальше, пролегает железная дорога.

Железной дороги отсюда, разумеется, не было видно, но я знал, что она там находится. Если посмотреть налево, там, тоже на холме, правда, на другом, на вершине, была какая-то темная штука, может быть, какая-нибудь будка или сторожка. Но это меня не очень занимало. Главное, что пейзаж был скучный и непривлекательный, и в целом он вызывал у меня чувство беспокойства или тревоги, или еще чего-то такого.

"А, может быть, все-таки дернуть напрямик?— снова подумал я. (Эта мысль соблазняла меня). — Плунуть на все и рвануть: ведь это скорей. Ну, решайся же, решайся,— говорил я себе,— решайся хоть на что-нибудь: на то или на другое. Ведь так ты просто теряешь время."

Мена часто упрекала меня в нерешительности. Она всегда говорила, что так-то я человек—ничего: и спокойный, и трудолюбивый, и скромный (она даже говорила, что чересчур скромный), но вот, что касается решительности, то тут она считает, что ее у меня начисто нет. Мне кажется, она в этом не совсем права—решительность во мне есть. Может быть ее недостаточно, но и не так, чтобы совсем не было. Она есть. Но в такой, например, ситуации?.. Тут еще десять раз подумаешь, прежде чем на что-то решиться.

Я, наконец, разозлился.

"Черт возьми! — разозлился я. — Да что я, хуже других, что ли? Не хуже,— подумал я,— несколько не хуже. Не лучше, но и не хуже. Нет, я не могу сказать, чтобы я был лучше других—у меня вовсе нет такой самоуверенности. Наверное, есть люди и лучше меня, я даже уверен, что есть, должны быть, не может не быть. Но в среднем... если взять в среднем, я такой же человек, как и другие, как все, ничем не хуже.

Но все же,— подумал я,— с другой стороны... Нельзя же, чтобы никто ни о чем не думал? Нет, так нельзя. Человек должен думать, не может не думать, просто не имеет права. И то, что он не хуже других, не дает ему права не думать. Мы все не хуже других, и, тем не менее, должны думать."

У меня прямо зудело внутри.

"А что, если все-таки дернуть напрямик?— подумал я.— Ведь это же быстрее!"

Но тут я вспомнил офицера, с которым разговаривал на Малой Средней. Он был так вежлив со мной и так любезно объяснил мне мой маршрут. И кроме того, он так крепко надеется на мою порядочность. Было бы очень некрасиво подвести его. Да нет, это было бы просто неэтично: взять и подвести человека, который крепко на тебя надеется.

Я вздохнул и стал спускаться с холма.

Приняв решение, я почувствовал себя гораздо спокойней и уверенней. Это точно, что от правильно принятого решения зависит все, а решение мое, очевидно, было правильным. Я теперь в этом почти не сомневался.

"Нет, конечно, никто и не говорит,— думал я,— напрямик было бы гораздо быстрее. Всем известно, что кратчайший путь между двумя пунктами А и В— это прямая, но кратчайший путь не всегда правильный путь, и логика не должна отрываться от подлинной действительности: ее всегда нужно применять к конкретным обстоятельствам. Отвлеченная логика хороша в математике или в науке, но не в повседневной жизни, потому что повседневная жизнь удивительней всякой логики.

Да,— продолжал я думать, спускаясь с холма в ложину,— в повседневной жизни полным-полно всяких удивительных вещей. Вокруг творятся такие будни, что ого-го!

— Ого-го-о-о-о!... — закричал я, сложив ладони домиком у рта, и эхо моего крика, несколько раз отразившись на склонах, возникло там и там и потерялось вдали.

Я снова пошел. Время от времени уклоняясь немного влево, настолько, насколько это предусматривал мой маршрут, и каждый раз, когда мой путь пролегал через вершину какого-нибудь холма, я останавливался, чтобы оглядеться и свериться по ориентирам— трубе, водонапорной башне и той темной штуке— и еще проверить: нет ли где какой-либо опасности

или неожиданности, или еще чего-нибудь. Не то чтобы я боялся или опасался, а просто иногда где-то начинало стрекотать, и я никак не мог понять, откуда это стрекочет. Вот я и оглядывался на всякий случай, потому что хоть это и предрассудки, насчет стрекота, тем не менее, доподлинная осторожность никогда не повредит. Но, каждый раз, поднявшись на холм, я убеждался, что никакой неожиданности меня здесь не ожидает.

Пейзаж был все тот же: выгоревшие склоны, редкая трава, сгустки полевых цветов — то желтых, то пыльно-сиреневых и кое-где мышьи норки — не в них же опасность? Правда, за лубим, даже за ближайшим холмом, могла затаяться какая-нибудь неожиданность, но так же, как и за углом улицы. (Кто от этого гарантирован?) Идя по улице, можно попасть под колеса автомобиля или бронетранспортера, или на голову с крыши свалится кирпич, — разве уберешься? Как народная мудрость утверждает: "Знал бы где унасть — соломки постелил." Вот так и за холмами.

Конечно, если бы я рванул напрямик... Не должно же у человека быть чувство ответственности. Должна же у него быть совесть. Какие-то обязанности, в конце концов. Вот, например, нельзя же курить в тамбуре вагона. Ведь там и табличка висит "Не курить!". Правда, многие курят в тамбуре, несмотря на табличку, и в этом отношении они нарушают правила, хотя в других отношениях они, может быть, и очень хорошие люди. Что ж, это бывает: у человека вообще очень сложная натура. И тем не менее. Вот я, например, не курю в тамбуре. Я, правда, вообще не курю. Зато моя жена курит. И она говорит, что это очень трудно — не курить. Ну что ж, наверное, так оно и есть, раз она это говорит. Но курить в тамбуре она бы себе никогда не позволила. Вот только мы с ней никогда не ездили в тамбуре.

"Да нет, — подумал я. — Это и представить себе невозможно, чтоб моя жена вдруг стала в тамбуре курить. Ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Моя жена — и вдруг закурила в тамбуре! Ха-ха-ха-ха!"

Но дело даже не в тамбуре. Ведь есть и другие обяза

ности. Ну хоть перед обществом или перед родиной. Да, перед родиной у человека множество обязанностей. А перед обществом? Перед обществом тоже множество.

Нет, — подумал я, — нужно честно относиться к своим обязанностям, и уж если тебе оказано доверие, ты должен его оправдать. А то что же получается, если все вдруг станут пренебрегать своими обязанностями. Должны же быть правила, и они должны соблюдаться. Иначе, что же будет? Просто анархия. Уж тогда и ходить-то никуда будет нельзя: идешь-идешь и вдруг — здравствуйте!..

Выбравшись на вершину холма, я остановился, чтобы отдышаться и проверить свои ориентиры. Все было верно. Труба, водонапорная башня и та темная штука, переместились немного вправо, так что башня была уже почти за моей спиной, труба по правую руку от меня, а штуку я не увидел, потому что она была заслонена от меня одним из холмов.

"Что ж, я уже много прошел," — подумал я со вздохом, так как оказалось, что я прошел меньше, чем ожидал.

Чуть наискосок, как показывали мне ориентиры, я стал спускаться, про себя удивляясь неприветливой дикости этого пейзажа: как-то уж все было здесь голо и неподвижно. Даже ветерка ни с какой стороны не доносилось, ни птицы в небе, ничего, так что я даже вдрогнул, когда неподалеку от меня в бурей травке проныгнул какой-то зверек, не то суслик, не то полевая мышь, и, мелькнув задними лапками и хвостом, провалился в свою норку.

"Вот и суслик, — подумал я. — Бркнул в свою норку и с концами. Маркнул напрямик — и был таков. Конечно, рассуждая так поверхностно, можно было бы сделать вывод, что он свободный меня: бежит себе как хочет, напрямик, но, если взглянуть поглубже, спросить себя, почему он это делает, то выводы сложатся далеко не в пользу суслика.

Во-первых, если говорить о свободе, то и суслик далеко не так свободен, как это на первый взгляд может показаться. Ведь не может же суслик вспарить, как сокол, в поднебесье, и ему не дано спускаться в пучину, поскольку он не имеет лабр.

А я? Нет, не буду утверждать, что я могу плавать, как рыба в воде. Я и, как сокол, — не могу. Безусловно, человек тоже подвержен законам, множеству законов, и не только физическим законам природы, но и всяким другим. Да, это так. Но зато человек и сам создает эти законы.

А во-вторых, — подумал я, — во-вторых... Во-вторых, и сама свобода суслика существует за счет глупости. За счет неосознанности и неспособности понять. Разве суслику можно что-нибудь доказать или внушить? Нет, нельзя. Ему ничего не внушишь и не докажешь — он глуп. Он не мыслит. Может ли он подумать обо мне? Не может. А я о нем — могу. Только я о нем и думать не стану — больно он мне нужен! — человеческая мысль не зависит от суслика. Человеческая мысль свободна. Как это?.. "Сначала труд, а потом членораздельная человеческая речь..." И мысль. Да, мысль свободна, — сказал я, — ее полет ничем не удержать. Об этом даже кто-то сказал "Я мысль — следовательно, я существую".

И вот я мыслю. А кроме того, еще и "... членораздельная человеческая речь...", и я могу разговаривать с другими людьми, могу донести свою мысль до другого человека. И он может донести... И я могу понять общественную необходимость, и я ее понимаю. Так кто же свободней? Суслик или я? Конечно же, я. Потому что моя свобода определена не глупостью, а сознанием и чувством ответственности. Нет, человек на много превосходит суслика: он произошел от обезьяны. "Человек — это звучит гордо."

Тут мне пришлось залечь. Передо мной на склоне следующего холма раскинулся военный лагерь: десятка два палаток обычного защитного цвета, походная кухня в виде нескольких защитных же ящиков на колесах и такой же защитный автомобиль-фургон. Между палаток, скучая, прогуливался часовой. Он в данный момент шел в обратную от меня сторону, так что оказалось, я вовремя залег. Он дошагал до фургона и повернулся, и я принял головой в землю, чтобы он меня не заметил.

"Зот-те на! — подумал я. — Чуть не напоролся. Надо так несеторожно ходить! Ориентиры ориентирами, но и по с!

ронам нужно поглядывать, а то как раз видишь, где не ждешь. Вообще нужно осторожной подниматься на эти холмы: тут, за холмами самые неожиданности и есть. Нет, может быть, это вовсе не опасности. Не обязательно опасности. Но что неожиданности, так это точно."

И поднял голову. Солдат уже развернулся и опять шагнул от меня, и, прежде чем отползти, я успел внимательно осмотреть лагерь. Кроме часового, там, кажется, никого не было. Из палаток не доносилось ни звука, вообще их пологи были глухо застегнуты на палочки, кухня не дымилась, и даже погреб не было рядом. Повидимому, все были где-то на занятиях.

И отполз немного по склону холма, а там, встав на ноги, стряхнул приставшие к пиджаку и брзкам сухие травинки, какие-то щепочки и пыль и только тогда осознал, что если по ориентирам, то мне на этот холм подниматься было и не нужно, а в этом месте я должен был идти по склону холма, и что если бы я не сделал бы этой ошибки, то никакого лагеря я бы, разумеется, не заметил, а так и прошел бы себе мимо.

"Что ж, это дает мне некоторые преимущества, — сказал я себе, — во всяком случае, я не выскочу на него с другой стороны."

И я скоро спустился в долину, отклонившись, насколько это было нужно.

"Интересно, — подумал я, — сколько я уже иду и какую часть пути я прошел? Может быть, уже треть, а то и больше?"

Мне показалось, что я иду уже час или полтора. За это время, если бы я шел напрямик, я уже мог бы дойти до Тихоженка.

"Да, пожалуй... — /Я опять стоял на вершине холма/. — Пожалуй..."

"Но, может быть, здесь какая-нибудь нравственная цель? — подумал я. — Наверное, она и есть. Не может же так быть, чтобы не было нравственной цели. Нет, не может. Потому что нравственная цель есть во всем. И здесь она тоже есть. Нужно только постараться ее найти. Нужно ее определить. Та-ак, — рассуждал я. — Начнем с этой спирали. С того, что

история тоже развивается по спирали. И общество тоже развивается по спирали, — продолжал я свою мысль, — все развивается по спирали. А человек? Конечно, — ответил я себе, — раз общество развивается по спирали, значит и человек тоже, — решил я, — и в том что я иду по спирали, есть свой смысл. Собственно, в этом и состоит нравственная цель.

Если бы я шел напрямик, — думал я, — я, может быть, не заметил бы даже и места, где иду. Ни холмов не увидел бы, ни травки, ни суслика — ничего. А между тем, это Родина, — подумал я. — Родина? — подумал я. Я удивился. Мне как-то до сих пор не приходило в голову, что эти холмы — моя Родина, — Родина? — еще раз удивился я. — Вот удивительно! — подумал я, — шел бы напрямик, так бы и не узнал, что это Родина. "Ну, конечно же, Родина, — сказал я, — да тут и думать нечего — ему понятно, что Родина."

"Вот в том-то и состоит нравственная польза, — подумал я, — ... когда идешь напрямик не напрямик. Нравственная польза. Родина."

Но в это же время я чувствовал, что у меня к этим холмам не только нет никакой любви, а напротив, они уже надоели мне — дальше некуда.

Эта мысль сильно испугала меня. Все-таки открыть в себе такое качество... Такую черту характера... Это уж слишком.

"Вот так! — испугался я. — Что же это? Выходит, что я не люблю свою Родину? Да нет, — подумал я, — почему не люблю? Люблю. Просто Родина ведь не вся из холмов. Вот эти холмы я не люблю, а Родину в целом люблю. В конце концов на моей родине не так уж много холмов, — подумал я. — В целом, их можно и не заметить. Зачем же обобщать? Ведь много и хорошего. А потом, ведь я же и родился здесь... И языка я никакого другого не знаю. Да ничего, — подумал я, — и холмы ничего. Просто я устал по ним ходить."

Я оглядел далекие ориентиры. Они опять сильно переместились. Водонапорная башня была теперь слева, та темная штука, которую я не мог разобрать, оказалась посередине, а труба со всеми своими строениями — справа. Если же повер-

нуться к ним спиной, то все как раз наоборот, а они теперь должны были быть у меня за спиной. Это я только обернулся, чтобы посмотреть на них. Посмотрев на них, я отвернулся и снова пошел. Где-то уже недалеко должен был находиться тот самый пост, от которого я начал спираль. И правда, поднявшись на следующий холм, я его увидел.

Между постом и мостом, где я стоял, был еще холм, но невысокий, так что мне хорошо были видны топчущиеся у барьера фигурки солдат. Они играли в популярную военную игру. Я ее знаю. Я, правда, никогда не был солдатом, но игру знаю. Нас еще в школе научил в нее играть один мой одноклассник. Он вообще любил все военное, он даже и одевался на военный манер, а в свободное время он учил нас играть в эту игру. Она и называлась так интересно — "Мясо". А заключается она в том, что один из играющих, отвернувшись и заложив левую руку подмышку правой, выставляет наружу ладонь /левую ладонь/, а остальные, то один, то другой, изо всей силы лупят по этой ладони. А еще она заключается в том, что после каждого удара, тот, кого бьют /он и есть "мясо"/ должен отгадать, кто его ударил. Если он отгадает, то его место занимает тот, который бил, а если нет, то он отворачивается, и его снова бьют. И так, пока не отгадает. Это была веселая игра, только мне в нее почему-то никогда не везло.

Вот и теперь солдаты у барьера играли в эту игру. Сначала один лупил, а другой угадывал, потом первый угадывал, а второй лупил.

Эта игра пробудила во мне воспоминания детства. Я вспомнил свой класс, школьных товарищей, любимых учителей. "Милая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не делить воспоминаний о ней!"

Я грустно вздохнул и пошел дальше. Да, игра в мясо пробудила во мне воспоминания.

Двор нашей школы был такой же убитый и гладкий, как эта площадка, только в нашем дворе не было деревянного барьера со столбом. Там была баскетбольная площадка, где на уроках физкультуры мы учились маршировать, а после

уроков там тренировалась школьная команда. На этот двор мы всей нашей сменой выбегали во время большой перемены, и все двадцать минут до самого звонка мои товарищи с упоением лупили в подставленную ладонь. Я вспомнил желтую пыль от многочисленных ботинок моих крепких друзей и тяжелый звон в ушах от сильных коротких сотрясений, и возбужденный шепот за спиной, и полновесный удар. Нет, и кроме игры в мясо, я помню еще и многие другие игры, ведь в детстве я играл в самые разные игры и в спортивные в том числе. В младшем школьном возрасте, я помню, мы играли в прятки, помню, как строили калабуду, шахматы тоже очень увлекательная игра. Но если бы я увидел, как играют в шахматы, я бы ничего не вспомнил, а от игры в мясо вспомнил. Именно игра в мясо вызвала у меня воспоминания детства.

Внезапный стрекот отвлек меня от воспоминаний. Он донесся откуда-то спереди, но не со стороны лагеря, а немножко справа, возможно, от трубы.

"Да, нужно быть поосторожней, — подумал я, — об осторожности нельзя забывать; а то ведь здесь, как в мире джунглей: раз — и нету. Нет, это, конечно, я преувеличивал, насчет джунглей. Это, конечно, сильно сказано, — подумал я, — потому что в джунглях, там действительно. Там встречаются всякие звери и питоны, например, дикие крокодилы, ягуары и львы. Правда, наряду с такими страшными и ядовитыми животными, в джунглях также можно увидеть много интересных бабочек, попугаев и обезьян. Есть и другие забавные подробности, глядя на которые, можно узнать много нового, а кроме того, расширить кругозор.

Увы! — подумал я. — Для этого нужно быть путешественником или обладать мужеством и отвагой. Стыдно признаться, но я всем этим не обладаю. Разумеется, все эти качества могли бы пригодиться мне и в повседневной жизни, потому что, что ни говори, будни тоже полны романтики: я думаю, этого никто не станет отрицать. Нет, — вздохнул я, — видно я не создан для будней. Для романтики, для подвига... Я не создан. А жаль, потому что здесь мне бы ни отвага, ни мужество не помешали."

- И вообще жалко,- сказал я. - Жалко, что я попал в эту паредрагу.

Но делать было нечего, и я пошел. Зашагал дальше. Вернее, это на совсем точно будет сказано, что зашагал, так как я гораздо больше спотыкался, чем шагал, из-за всяких кочек и других неровностей почвы. К тому же все время приходилось то подниматься вверх, хоть и не по крутому, хоть и не пологому, но все-таки по склону; то нужно было спускаться вниз, в ложбину, и это тоже было утомительно, так как в этом случае я тратил много сил, чтобы преодолеть инерцию и не бежать. А вообще все эти взлеты и падения напоминали путешествие по волнам, и я даже сравнил себя с кораблем плывущим по бескрайним и неведомым просторам, только я не знал, куда и зачем я плыву.

Внезапно снова раздался стрекот, и на этот раз я понял, откуда он идет. Ну конечно, он шел из того двора с трубой. Труба торчала оттуда, как из-под земли. Сложенная из белого кирпича, она от времени и дыма стала почти черной. Впрочем, дыма из нее сейчас не было, а там стрекотало. Сказать по совести, мне стало очень неприятно от этого стрекота. Я, конечно, не суверен, но в таком положении, как мое, поневоле начинаешь обращать внимание на всякие приметы. Не переставая смотреть на трубу, я быстро спустился с холма.

"Там забор,- думал я. - Черт его знает, что там за забор, и черт его знает, что за ним. Меня могут оттуда увидеть, и от этого, в свою очередь, могут возникнуть последствия. Надо мне к нему незаметно подобраться и посмотреть, что там. Прodelать дырочку и посмотреть. Да что там! Еще дырочку проделывать! - там и так, наверняка, полным-полно всяких щелей. Во всяком заборе их всегда много - сиди и наблюдай за любим. Как бы мне его обойти, этот забор?"

Но мой путь, как масло, лежал у самого забора, и миновать его не было никакой возможности, и я шагал вниз все быстрее и быстрее, пока не достиг подножия этого холма.

Я остановился и перевел дух.

- Су-у-у-у...

"Даль, что я не курю,- подумал я. - Как хорошо, наверное, было бы сейчас закурить! Надо бы научиться."

Лена всегда говорила, что некурящий мужчина- это только полмужчины.

"Это правда,- подумал я,- курение, наверное, придает мужества."

Я заметил, что у меня дрожат руки.

"Вот как нехорошо! - подумал я. - Дрожат руки."

Я стоял. С этой стороны холм был размыт, крут и обрывист и напоминал скорее овраг, чем холм. К тому же в ложбине было навалено всякой дряни, и от этого он еще больше походил на овраг.

Я стал медленно подниматься по крутой тропинке, держа курс прямо на трубу. Сейчас, если даже кто-нибудь и был за забором, он не смог бы меня увидеть, да и мне отсюда не видно было забора, так как он находился по ту сторону холма. Времени у меня было достаточно, однако было бы неплохо иметь его немного в запасе на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Тем не менее, я никак не мог заставить себя подниматься быстрее. Там, за вершиной холма, я чувствовал опасность; буквально чувствовал, хотя у меня и не было к этому никаких объективных причин.

Вдруг стрекот прекратился, и в тот же миг я упал на четвереньки, так как зацепился за что-то ногой. Это был вросший в землю ржавый и изодраный лист железа.

"Ничего страшного,- подумал я. - Просто зацепился ногой,- я встал. - Зацепился,- подумал я, - споткнулся. Вот только какой ногой? Правой? Все в порядке,- подумал я,- правой."

Нет-нет, я не из предрассудков... Это я просто так подумал, чтобы о чем-то подумать, чтобы отвлечься и не про- жать.

"Что это стрекочет,- подумал я,- и почему перестало? Нет, это мне не нравится. Еще бы стрекотало все время, а то пострекочет и перестанет, а потом опять стрекочет,- тут что-то не так. Правда, может быть, это какой-нибудь процесс или что-то такое, и, может быть, это меня не касается,

но все-таки это очень подозрительно, когда все тихо-тихо, а потом вдруг ни с того, ни с сего начинает стрекотать, а потом опять тихо.

Э-э-э, да ведь оно и раньше стрекотало, — вспомнил я, — оно ведь и тогда стрекотало, когда я был еще на первом витке. Я ведь еще тогда заметил, что где-то стрекочет, только точно не мог определить, где. Правда, я уже тогда предполагал, что здесь. Выходит, я был прав. Ну, разумеется, не будет же стрекотать исключительно ради меня. Что я за персона такая?"

Эта мысль меня немного подбодрила.

"Что ж, пусть стрекочет, — решил я. — Видимо, оно периферически стрекочет."

Я осторожно, стараясь не шуметь, направился к забору. Я почувствовал таящуюся за забором опасность: она прямо-таки сочилась из всех щелей.

"Нет, лучший способ обороны — нападение", — решил я. То есть это не я так решил — это Суворов когда-то решил, но я тоже так решил.

"Лучше пусть я нападу, чем на меня нападут. То есть я, конечно, не в полном смысле нападу, а это я имел в виду, что сам посмотрю. В какую-нибудь дырочку. Нет ли там кого? И не наблюдают ли за мной? А вдруг там наблюдают? — подумал я. — Вдруг, я приложу к дырочке глаз — и там глаз? Или еще хуже: я приложу, а оттуда пальцем ткнут. Или палкой... Мало ли что в голову взбредет? — дураков много. Да нет, маленькая вероятность, — подумал я, — чтобы так точно попасть.. Забор большой, а глаз — тьфу. Мало ли ему места, куда д ткнуть? Почему именно в глаз? Нет, ерунда. Вот сейчас возьму и посмотрю. А что? Мне терять нечего, так что мне, в некотором смысле, все трин-трава. Во всяком случае, хоть узнаю: есть там реальная опасность, или все это так, чистый бред."

Я колебался.

"А что, если есть опасность? — подумал я. — Что тогда? Я посмотрю, а там опасность. Что тогда?"

- А-а-а-а, - все равно, - подумал я, - хоть буду знать об imminent опасности. Уж лучше смотреть опасности в глаза. Это, во всяком случае, честнее. Да оно и в стратегическом отношении лучше, - подумал я. - Только вот что оно не стрекочет? Вот сейчас бы ему и стрекотать, а оно не стрекочет. Вечно так: когда надо, ни за что не пострекочет!

Но тут как раз застрекотало, и я понял, что мне ничего не остается делать, кроме как немедленно заглянуть.

"Ну! Будет, будет, нечего времени терять, - приказал я себе, - будь мужчиной. Ну-у-у!"

Я замурлыкал и наощупь прикинул к щели. Потом я набрал побольше воздуха, как будто я собирался нырнуть, а набрав воздуха, я открыл глаза.

Я отшатнулся. Я посмотрел вдоль забора налево, направо, а потом - была не была - снова прикинул.

"Черт с ним. Узнавать, так уж до конца", - отчаянно подумал я, и на этот раз моя решимость меня не подвела.

Десантники лежали на вытоптанной траве газона, возле длинного сарая или амбара - я это строение точно не могу назвать, - их было человек десять-двенадцать. Они лежали в кружок, свободно развалившись, как будто они отдыхали, а в центре этого кружка, на траве, лежала какая-то развернутая бумага, видимо, до этого сложенная вчетверо, а что это за бумага, я отсюда не мог видеть: может быть, это была какая-то карта или инструкция, но ее края загибались вверх, а кроме того, на ней еще лежал чей-то защитный берет. Один из десантников, рослый широкоплечий малый с рыжеватым затылком из-под сдвинутого берета, лежал ко мне спиной, что-то говорил. Я об этом только догадывался, по движениям его ушей. Его голоса все равно не было слышно из-за сильного стрекота, но уши двигались, как у говорящего человека, и я понял, что он говорит. Он что-то говорил, а остальные десантники внимательно смотрели на него, видимо, слушали, и, наверное, им было слышно, что он говорил, потому что они все были гораздо ближе друг к другу, чем я к ним. Он говорил, а они слушали, и им, вероятно, было интересно. Потом его уши перестали шевелиться, и тогда без-

звучно заговорил другой десантник, лежавший на другой стороне. До этого он лежал, подперев кулаком голову, но теперь, для того, чтобы говорить, опустил ладонь руки и только опирался на локоть. Это был огромный белообрый парень с крепким правильным лицом и прозрачными глазами. Мне показалось, что он чем-то рассержен, потому что его лицо выражало угрозу. Во всяком случае, было похоже на угрозу. Его жесткие губы остановились — он замолчал. Рыжеватый десантник снова зашевелил ушами, наверное, снова заговорил. Он говорил довольно долго, около минуты, и по мере того, как он говорил, лицо белооброего темнело от нарастающего гнева. Наконец он встал. Выдвинув свою твердую челюсть вперед, он медленно подошел к замолчавшему десантнику и, расставив огромные ноги, навис над ним. Все десантники, приподнявшись на локтях, напряженно за ними следили, но рыжеватый десантник даже не шевельнулся. Он даже не посмотрел на белооброего, даже не поднял головы. Десантник еще что-то сказал и на его лице появилась какая-то убогая гримаса, а глаза побелели. Я понял, что он сейчас что-то сделает. Я зажмурился и бросился вниз по холму, благо, еще не кончилось стрелкотать.

Внизу, между холмов, я отдышался и прикинул, куда мне дальше идти. Несмотря на пережитый мной страх и неприятное впечатление от стычки десантников, я был все-таки доволен сделанной мной разведкой, и не только результатами, хотя и результаты были замечательны. Теперь до конца витка мне, практически, нечего было опасаться — десантники были позади. Но помимо всего прочего, я был очень доволен и даже горд своей решительностью, хотя /я это отлично понимаю/ она только для меня была решительностью, для таких, скажем, людей, как эти десантники, мое поведение никак не могло бы называться решительностью — это было для них обычное дело, и они, наверное, и не задумались бы на эту тему. Тем не менее, довольный и собой, и обстановкой, которая теперь благодаря разведке и решительности, была мне известна, я спокойно прошел извилистой долиной, обогнув три или четыре холма, и стал подниматься в гору. Я медленно шел по склону

вверх, по желтой тропинке, направляясь к лагерю, потому что спираль опять касалась его своим витком /на этот раз с другой стороны/, и так поднимаясь, я почему-то опять вдруг вспомнил свое детство. Я даже удивился, почему это я его вспомнил, — казалось бы, ничто не могло мне напомнить его.

"Может быть, что-нибудь в пейзаже? — думал я. — Или цвет неба? А может быть, какой-нибудь запах или звук? Мало ли что может вызвать воспоминания детства. Но странно, что — здесь, в холмах. Здесь все в общем-то не слишком приятно, все напряжено, и — детство! Детство — это же самое счастливое, самое беззаботное время. Если не считать всяких неприятностей, да страха перед товарищами, то это, пожалуй, лучшее время жизни. Просто счастливое время, особенно летом. Летом! Летом меня всегда на каникулы отвозили в деревню, к моей, теперь уже давно покойной, тетке. Чего там только не было! А главное, три месяца в году, целых три месяца, я мог совсем ничего не бояться, только читать разные книжки, купаться в пруду и наедаться до оскомины спелых вишен из эмалированной кружки. И все три месяца я мог не видеть своих товарищей. Да "милая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминаний о ней!" И все равно я никак не мог понять, почему это я вдруг вспомнил детство.

Но теперь я поднимался к лагерю, и мне некогда было об этом думать. Мне нужно было сосредоточиться, чтобы не попасть впресак, потому что разведка — разведкой, а "береженого Бог бережет", а кроме того, я не забывал о часовом, которого видел в прошлый раз с той стороны. Расчеты меня не обманули. Лагерь, действительно, оказался там, где я предполагал. Неудобство заключалось в том, что теперь мне предстояло его наблюдать с того самого холма, на котором он был расположен. И вот он появился. Сначала из-за холма выросла защитная крыша фургона, потом — весь фургон и верхушки первого ряда палаток /их было четыре/, потом — весь ряд целиком и верхушки второго ряда, следующие ряды появились быстрее и как бы возникли сразу, один за другим, и,

наконец, отырился весь лагерь. И тут меня как будто кто-то ударил в лицо. Я отирянул. На нижнем конце лагеря, в стороне от палаток, толпилась группа солдат. Этого я никак не ожидал.

Сначала я предположил, что это другие солдаты, что какая-то часть солдат все время оставалась в лагере. Сидели в палатках или спали... Но тут я увидел, что это те же самые солдаты. Те же, которых я видел за забором. Я узнал их, потому что среди них, в самом центре, я увидел уже знакомые мне две фигуры: того белообрисого и другого, который в тот раз лежал на траве. Их лиц отсюда было не разглядеть, и но я их все равно узнал: белообрисого — по его огромному росту, а второго — уж не знаю по чему.

Я сильно рисковал. Как я не пригибался, как я ни старался держаться за палатками, кто-нибудь из них все равно мог заметить меня. Но счастью, они все сгрудились вокруг тех двоих. Терпясь, пока они не разошлись в стороны, к пригибаясь, я добежал до фургона и притаился там. Здесь я постарался учесть все детали и держаться поближе к заднему колесу.

"Нужно, чтобы никто не заметил моих ног, — подумал я. — В такой ситуации даже ноги могут выдать присутствие человека."

Я осторожно выглянул из-за фургона и стал наблюдать за десантниками, пытаюсь догадаться, чем они занимаются. Один из десантников, которого я узнал, но не тот белообрисый, а другой, который лежал /теперь он стоял/, он стоял в центре, посередине кружка, держа в руках какую-то развернутую бумагу /возможно, ту самую, что лежала там на траве/ и, тыкая в эту бумагу пальцем, что-то говорил остальным. Десантники слушали. Все, кроме одного, того самого, белообрисого, которого я тоже узнал. Теперь он, как и в тот раз, не соглашался с тем, что тот говорил, а доказывал что-то свое. Другой, не обращая на него внимания, продолжал рассуждать и тыкать пальцем в бумагу. Белообрисый, раскорячив ноги, присел, развел руки в стороны и медленно соединил их как будто обхва-

тия ими дерево или что-нибудь другое. Тот посмотрел на него, помолчал немного, как бы раздумывая, и вдруг очень резко и быстро сделал верзике неприличный жест. Десантник выпрямился во весь свой огромный рост и двинулся вперед, но в этот момент неожиданно и сильно загремело, и вся команда, сорвавшись, бросилась вверх по холму...

Прижавшись к теплой стенке фургона, я замер. Я хотел бежать, но мои ноги сгибались в коленках от страха. Это меня и спасло. Оказалось, что десантники бежали вовсе не ко мне. Это повар ударил чем-то в медный таз. Повар, которого я, увлеченный разведкой, не заметил. Видимо, он всегда таким образом собывал их к обеду. Десантники окружили защитный ящик и стали рвать друг у друга тарелки.

С силой оттолкнувшись от фургона, я отбежал на несколько шагов и бросился ничком на землю. Я ползком добрался до склона и буквально скатился вниз. Несколько минут я лежал в ложине, скорчившись и держась за сердце. Оно прямо-таки стрекотало, как та неведомая опасность за заборами, и отдавалось во всем теле так сильно, что казалось, это не сердце, а подо мною пульсировала земля. Я всегда был здоров, и у меня никогда не болело сердце /оно и сейчас не болело, а только билось/, но я даже испугался, как бы мне не умереть от такого сердцебиения.

"Нет, это, конечно, не от сердца — это от нервного напряжения," — подумал я.

"Но ведь и нервы у меня были крепкие, — подумал я, — вот у жены, так у нее, действительно, нервы."

"И все-таки это от нервов, — подумал я. — И это при моих в общем-то здоровых нервах. А что же у жены? Ой, об этом даже думать не хочется, — подумал я. — И она с такими нервами сидит сейчас и ждет меня, и не знает, а я тут.."

И я стал испытывать угрызения совести. Они были так сильны, что я просто места себе не находил. Зато сердцебиение прекратилось. Я снял руку от груди и сел.

"Надо идти, — сказал я, — надо спешить. Тем более, что угрызения. Ведь еще порядочно идти. Пока они обедают, я могу очень много пройти. Может быть, до того поста, пото-

му что по всему получается, что спираль, вроде бы, не совсем спираль, то есть все три витка ближе всего подходят к центральному посту, а в эту сторону раскряются; так что нечего времени терять, — надо идти и ни о чем не думать."

И я опять пошел, только вот ни о чем не думать не получалось. Во-первых, это слишком уж быстрое передвижение десанта показалось мне странным, но я гнал от себя такие мысли; во-вторых, мне почему-то снова вспомнилась игра в мясо. Почему? — Я ее никогда не любил. Может быть, оттого, что мне в нее никогда не везло? Неважно отчего. Не любил и все. И вот почему-то она привязалась ко мне, как какая-то назойливая песня, которую никак не выкинуть из головы, и в то же время не вспомнить, что это за песня, потому что в голове один только мотив без слов. Вот так и эта игра. И опять вспомнил уютанный школьный двор и крепкие ботинки подростков, и их крепкие лица, и мужественные лбы, и задние какой-то глубокой задностью глаза. И я, медленно повернувшись, неуверенно тыкаю пальцем в одного из них. Мне кажется, что это он, нет, я почти в этом уверен: я уже изучил его руку, его удар. Это особенный удар: тыльной стороной скатой в кулак руки, с легким захлестом снизу вверх, в основание большого пальца, в подушечку, — это невероятно больно, так что я с трудом удерживаюсь от слез. Но повернувшись, я вижу их непроницаемые лица и теряю уверенность: их лица, эти крепкие мужественные лица, уже, еще до того как я укажу, заранее выражают опровержение. И когда, наконец, набравшись решимости, я показываю на него пальцем, он пожимает плечами, и, ухмыляясь, смотрит мне в глаза и качает головой. И все остальные тоже качают и тоже ухмыляются. Мне не везло в этой игре, и я ее не любил.

Увы, воспоминания детства далеко не всегда бывают так приятны, как об этом принято писать, и я теперь вспомнил далеко не самые светлые моменты моей жизни, и если многое из той поры невозвратно, то я этому только рад.

Нет, как хорошо, что я теперь взрослый! Я самостоятельный человек: сам себе голова. Я могу заработать себе

на жизнь — и зарабатываю. И у меня теперь есть любимая жена и комната, в которой мы счастливы. В этой комнате голубые обои в полосочку и старинный барометр, и кот, который сейчас там трется о ножку рояля и мурлыкает, и ждет меня.

Да, хорошо бы быть теперь дома. Сидеть за роялем и играть жене классику. Моя жена очень любит классику: у нее вообще прекрасный вкус. Да, сидеть и играть /я не ахти как играю, но для жены.../, играть для нее Бетховена. Она особенно любит Бетховена, восьмую сонату. Жена говорит, что она героическая. Ну, что я, возможно она и права, хотя мне лично эта соната кажется патетической, может быть, потому что она так называется, а может быть, потому что она на самом деле патетическая. Но я согласен и так, как жена. Мне все равно. Я мужчина — могу уступать.

Издали опять донесся стрекот, но он больше не пугал меня.

"Все-таки, как закаляют человека опасности," — подумал я.

Впереди, через два холма, на вершине третьего, стоял главный трактор, тот самый, который я раньше принимал за штуку. Я зашагал быстрее и уже через двадцать минут был около него.

К трактору я подошел осторожно, потому что я хоть и гнал от себя мысли, но на склоне следующего холма могли расположиться десантники. Маловероятно, почти исключено, но могли. Поэтому я осторожно подошел к трактору и еще осторожнее выглянул из-за него.

Вот тут я чуть не закричал. Оттуда, из-за трактора, из-за капота, медленно и бесшумно, как голова кобры, появился зеленый берет. Не знаю, как мне удалось сдержать крик, но я его сдержал. Я даже не охнул. Я сразу присел. Нет, находиться в такой близости от десантников! — на это у меня не было сил. Я напряг всю свою волю, чтоб не поддаться панике, и быстро отполз назад. И сейчас же проклял себя за это. Из-за трактора торчал уже не только берет, но и рывчатый затлок и уши, и плечи с погонами. Я судорожно рванул назад, уж не знаю как, но сразу метра на

три, и снова залег. Все-равно из-за трактора меня вполне можно было увидеть, и в этот момент голова десантника стала медленно поворачиваться.

Лечь ничком, зарыться носом в землю, вжаться в нее, — нечего было и думать: он бы все равно увидел меня. Вско-чить и бежать? Нет, я все-таки не поддался панике и не вскочил. Голова десантника медленно повернулась в профиль, и тогда я снова чуть не закричал.

"Господи! Да ведь это же Шпацкий! — чуть не закричал я. — Это Шпацкий. Ну, конечно, он еще тогда мечтал стать десанником, тогда в школе. Вот так встреча!" — подумал я.

Теперь я вспомнил, что и возле трубы, за забором, он показался мне знакомым, только я тогда не понял этого, и за фургоном я этого не понял, и только теперь я его узнал. На мгновение мелькнула была мысль, что, может быть, это лучше, что Шпацкий?

"Нет, — подумал я, — не буду на это надеяться. Не сто-ит... Да и неизвестно, кто там еще за трактором, и вооб-ще, что там может быть. Не буду зря рисковать."

Да, детство преследовало меня по пятам, оно подсте-регало меня за каждым холмом и каждой деталью напоминало о себе.

Я однажды встретил экзистенциалиста. Он сказал мне, что такое чувство называется самостью. Правда, он говорил это, имея в виду мотоцикл. То есть, что когда быстро едешь на мотоцикле, а особенно, если начинаешь лететь че-рез руль, то страха не бывает, а бывает самость. А са-мость заключается в том, что вспоминаешь всю свою жизнь, вернее, вся жизнь умещается в одном мгновении, пока летит. Он еще песенку пел:

А для звезды-и-и, что сорвалась и на-а-дав-эт,

Жизнь только ми-и-иг, ослепительный ми-и-и-иг.

И он говорил, что особенно ярко и подобно этой звезде, в гаснущем сознании вспыхивают счастливые моменты, что в этот ослепительный миг заново переживаются все детские ощущения, — и поэтому все экзистенциалисты стремятся к опасности.

Я не знаю, зачем это? Я и так вспомнил свое детство, хотя вовсе в этом не стремился. Я опять вспомнил игру в мясо и свое неумение играть в эту игру и ухмылки товарищей, и их строгательные жесты, их единодушные — все то, чего я тогда старался не замечать, во что я старался не верить, потому что это давало лишнюю пищу моему страху. Тому самому страху перед ними, который в те времена не оставлял меня ни на минуту и с возрастом, перейдя в хроническую форму, затаялся и, как будто, замолк, но каждый раз перед лицом опасности или конфликта, он обострялся и изматывал меня, как лихорадка, до потливой слабости, до мерзкой дрожи в коленях.

Вот и теперь я не почувствовал ни малейшей самости, хотя страх был. Только теперь это был какой-то новый страх, абсолютно трезвый, без паники, но еще более острый и холодный.

Не отводя глаз от трактора, я осторожно отполз за холм. Голова Шпацкого все еще торчала из-за трактора, но я не знал, есть ли там еще кто-нибудь. Впрочем, мне на это было наплевать. Мне снова показались странной скоростью, с которой передвигался десант, но я больше не гнал от себя этих мыслей. Напротив, теперь я старался, как можно более трезво оценивать ситуацию. Я понимал, что присутствие Шпацкого ничего не облегчает, а как раз наоборот, усугубляет.

"Шпацкий знает меня как облупленного, — думал я, — и даже лучше. А он теперь здесь. Да, он добился всего, чего хотел. Недаром же у него такой опыт игры в мясо. И вот он здесь. Вместе с другими десантниками маневрирует в холмах. Потому-то они и передвигаются с такой быстротой и потому все время оказываются на моем пути. Теперь мне понятно, откуда у меня тогда появилось ощущение детства. Нет, не от самости /тогда еще не было самости/ — от этой быстроты. Да, Шпацкий. Вот уж кому "любить и лелеять", а мне... Я в детстве мечтал поскорее вырасти и стать взрослым, чтобы

находясь среди свободных и равных людей, избавиться от этого страха навсегда.

И вот растешь, растешь и становишься взрослым, становишься гражданином, уважающим законы и правила /не только правила движения, но и вообще/, развиваешься, читаешь книги, журналы и газеты, приобретаешь убеждения и взгляды на жизнь, и вокруг тебя такие же люди, сознательные, взрослые и, как будто бы, равные, — но среди них всегда найдется человек из твоего детства, чтобы учить и растлевать их.

Нет, это опять детство. Оно разыгралось во мне. В самой печени. Это — Родина. Эти холмы — Родина? Ну, конечно же, Родина. Да тут и думать нечего — ему понятно, что Родина.

А моя комната, жена, кот? — спросил я. — Это — Родина? Да, конечно, это тоже Родина, — ответил я, — тоже Родина, только это не понятно ему. Ну и черт с ним! — подумал я. — Черт с ним, с ежом. Пусть ему это будет не понятно. А мне это понятно, и я это люблю. Потому что там моя жена. А кроме жены, там вот и река с Бетховеном. И барометр. И голубые обои в полосочку, и толстые стены. А главное, там можно ничего не бояться: там безопасность. Да, безопасность. За нее, за эту безопасность, надо, необходимо бороться и даже, если понадобится, отдать свою жизнь.

Что ж, я готов. Я буду бороться. Я, конечно, не десантник, но ведь не одни же десантники отдавали свою жизнь за Родину? Были и другие. Безымянные герои. Моя родина знает немало таких имен. Я тоже буду бороться. Я отдам."

Я миновал центральный пост, только отметив его про себя, и не приняв никаких мер предосторожности, так как солдаты спали. Просто спали, привалившись плечами к барьеру и раскинув ноги, обутом в тяжелые пыльные башмаки. Я пробежал неподалеку, спеша, как можно скорее, выйти к Смилицарскому Протоку. Я теперь ничего не боялся — все переориентировало мое желание прорваться домой.

Эту часть пути я прошел быстро и без каких-либо

прикляченный, а на последний холм взобрался почти бегом.

Здесь, на холме, я залег. Я пока не видел опасности, но здесь она должна была быть. Это был последний участок пути, и вряд ли тогда, не дождавшись меня у трактора, они вернулись на спираль. Вряд ли: верней всего, они ждали меня где-нибудь здесь. Может быть, они опять прятались за трактором, только с той стороны, или были где-нибудь здесь, на моем холме, на одном из склонов; а может быть, они разделились и теперь находились в двух местах сразу, чтобы им удобней было взять меня в клещи, кажется, есть такой прием. Впереди, и немного справа, за перевалом следующего холма, возвышалась буро-красная кирпичная водонапорная башня — очень удобное место для того, чтобы спрятаться, — но — "близок локоть..." — это была уже не их территория. Между тем холмом, на котором я лежал, и другим, с башней, уже проходила граница. Это была неглубокая и неширокая траншея, огибавшая подножие моего холма и дальше уходившая налево, за соседний холм с правым трактором — куда она шла дальше, не имело для меня никакого значения. Важно было то, что она была совсем близко: всего каких-то две сотни шагов. За ней я уже мог ничего не бояться.

И вот теперь я лежал на холме, стараясь угадать: с какой стороны мне устроена засада.

"Если они спрятались за трактором, — соображал я, — то мне нужно взять вправо, чтобы успеть первым добежать до траншеи; если же они на той стороне моего холма, то я должен буду, наоборот, рвануть влево. Это немного дальше до траншеи, но и тогда — ничего. Хуже всего, если они караулят меня с двух сторон. Бежать прямо — для меня ближе всего, но в этом случае, я дав им возможность бежать не вдогонку, а наперерез — это хуже."

— Ничего, — сказал я. — Они, конечно, сильные и отважные, десантники, — но бегать... это и я неплохо умею.

Все же я решил немного полежать и посмотреть, чтобы попусту не рисковать. Теперь, когда я был уже почти у цели, это было бы просто глупо. Даже и безответственно. Я

внимательно смотрел, но нигде не было никакого движения, и я уже собрался вскочить, когда из-за водонапорной башни показалась и тут же исчезла чья-то рука. Только мелькнула на мгновение — и пропала, исчезла. За водонапорной башней. Уже по ту сторону траншеи. То есть — на другой территории! Мелькнула и исчезла. Я не поверил.

"Может быть это чепуха, может быть это от напряжения? — не поверил я себе. — От напряжения зрения. Померещилось... Тогда почему же рука, а не голова?"

Но тут показалась и голова. Нет, голова еще не успела показаться, только берет, и я сразу же упал грудью и лицом в землю.

"Но, может быть, это ошибка? — подумал я. — Может быть, они уже плюнули на все дело и просто отдыхают на том холме? Или... или они, действительно, плюнули на все?"

Я осторожно приподнял голову и посмотрел. Защитный берет по-прежнему торчал из-за башни, но головы под ним никакой не было, а торчал он на стволе автомата. Был надет на ствол автомата и торчал.

Я снова опустил голову.

"Это какой-то трюк, — подумал я, — они всегда так делают: я где-то об этом читал. Не-е! — это приманка. Это, чтобы я себя как-нибудь проявил. Не-ет — это не книжки! Меня вам на эту удочку не поймать, хоть это и очень хитрый трюк. Ты, Ипацкий, знаешь меня как облупленного, но и я тебя знаю. Может быть не так, как знает облупленного, но все-таки."

Однако, я теперь понял, что они вовсе ни на что не плюнули, и не просто отдыхают под башней. Нет, они спрятались там. Спрятались и подстерегали меня, и я знал, что они приложат все силы, чтобы не дать мне уйти. Я понял, что мне остается только одно — безопасность.

Я прижался щекой к твердой, поросшей жесткой травой, земле и каким-то последним чувством почувствовал, что это — все. Эта земля была — все. Я всегда знал, что родную землю надо любить, а что это родная земля, в этом у

меня не было никакого сомнения, но когда я стоял там, в холмах, то я ничего этого не чувствовал. А теперь я чувствовал каждую травинку и сухость этой травинки, и ее хрупкую остроту. Даже сила притяжения земли, вот так, лежа, была в тысячу раз больше. Нет, это была, несомненно, моя земля. Небо над моей головой я не чувствовал своим, хотя в нем и летают самолеты моей страны, а вот землю чувствовал и любил.

"Верно, — подумал я. — Это чувство, очевидно, происходит от того, что я лежу на земле. От этой близости, конечно, ее сильнее любишь... Но если я... Если я так ее люблю, то как же ее любят десантники, которым приходится каждый день вот так вот лежать на земле? Наверное, в тысячу... В миллион раз сильнее, хотя мне это кажется невозможным. И наверное, отсюда у них и патриотизм, и ненависть к врагам и захватчикам, и стремление защищать. Правда, я не помню, чтобы кто-нибудь нападал, но в том-то ведь и заключается служба десантников. Они защищают родину в мирное время, они ее защищают всегда, они и сейчас ее защищают."

И тогда я вдруг перестал чувствовать землю. Я вообще больше ничего не чувствовал, кроме обиды и горечи. И сама мысль куда-то пренала, и страха не было.

— Я не люблю родину! — сказал я.

Я встал и бросился вперед так, как будто мои руки были полны гранат.

Я покатился вниз по склону, став жестким тяжелым, как колесо или камень, наверное, камень, такой большой круглый камень с дыркой посередине, я видел такой однажды на экскурсии — мне тогда сказали, что это мельничный жернов. Я катился, подпрыгивая на неровностях холма, не чувствуя дыхания, а, может быть, просто без дыхания, без сердца, без чувств, отрешенный и готовый на все. Вернее, ни на что не готовый, но ни о чем не думающий, потерявший голову от страха, а, может быть, потерявший и сам страх. Все это

предождалось, вероятно, какие-то мгновения, в крайнем случае, секунды, хотя и чувства времени у меня тоже не было.

Орава десантников сорвалась из-под бурой кирпичной водонапорной башни, и в восторге они, перегоняя друг-друга, побежали с холма наперерез мне. На мгновение на фоне бледного, сероголубого, безоблачного неба все детали этой картины представились мне плоскими, как раскрашенные фигурки в тире. Четкий звук автоматной очереди внезапно оживил картину, и тогда, осознав пространство, я взглядом оценил расстояние и увидел, что раньше десантников успею добежать до траншеи. Они, растянувшись неровной цепью, катились с холма, набегу взахлеб стреляя из автоматов, и я, отстранившись сознанием, подумал, что, в сущности, какая это нелепость! Ведь все это было бы очень весело, и так красиво сыпалась бы эта резвая дробь по всей окрестности холмистого пейзажа, если бы это просто так стреляли, не в меня. Но эти, перебегая на полусогнутых ногах и молодецки упирая в животы автоматы, хлестали в меня короткими очередями, и Шпацкий, вырвавшись вперед, присел и, перекрывая выстрелы, петушиным голосом заорал:

- Бей в мясо-о-о-о!

Уже оттолкнувшись ногой и повиснув над неглубокой траншеей, я снова подумал, что все ерунда, и что если уж они засели под водонапорной башней, то и все остальное их теперь не остановит, и что они в любом случае не дадут мне уйти. Но все еще надеясь, что они хотя бы перестанут стрелять, я приостановился, вернее, даже не приостановился, а просто чуть замедлил бег, но траншея, то есть не траншея, а то, что я был уже по другую сторону траншеи, — это им не помешало.

- Бей в мясо! — радостно крикнул Шпацкий.

- Как тебе не стыдно... — закричал было я, но мой голос сорвался.

- Мне не сты... Я не стыну! — надрывался Шпацкий. — Гоняй его, ребята: он еще в школе был неображалой.

И снова резкая дробь раскатилась эхом на холмах.

Внезапно опутано шаркнуло сухой землей по носкам ботинок, и глянув вниз, я отчетливо увидел свои бегущие ноги с двумя-тремя пыльными зубчиками на башмаках.

"Боже, они в меня!" — но я и додумать не успел, потому что следующая очередь слева от меня взбороздила продольную строчку по земле. Я метнулся вправо — слева опять сухо зацелкало по тропинке, и где-то там в ответ застучал автомат.

Прямо под ноги мне полетел защитный тук. Я увидел далеко внизу белообрисое лицо, в экстазе разинутый рот, десантную куртку; мои локти согнулись от сильного толчка, и сейчас же я поехал щекой и виском по земле. Вслед за тем от сильного рывка я оказался на ногах и стал падать дальше, но кто-то подхватил меня, поворолил пятками по земле, схватив меня за штаны, перевернул и швырнул на ту сторону траншеи. Потом чья-то рука схватила меня за шиворот и, дернув, поставила на ноги. Тогда я, наконец, сообразил, что стрельба прекратилась, — и пространство передо мной заполнилось защитными куртками. Я потряс головой и выплюнул землю изо рта, и только после этого услышал гогот и крики десантников.

— Подними рожу! — раздался знакомый голос, и веснушчатая лапа приподняла мою голову за подбородок. Шпацкий расхохотался мне в лицо.

— Привет! — сказал Шпацкий. — Сколько лет, сколько зим!

У меня дрожали руки и ноги, и губы дрожали, я дрожал весь и тяжело дышал.

— Закури, — сказал Шпацкий, выцеливая из пачки сигарету, — закури, успокойся.

Я даже отказаться не смог, так как все еще не мог говорить. Он воткнул мне сигарету в рот, прямо желтым фильтром в губы, и поднес зажигалку. Я потянул дым в себя и тут же закашлялся, и сигарета упала на землю, но это вернуло меня к действительности, то есть я стал что-то соображать.

- Эх ты, зряя! - с сожалением сказал Шпацкий. - Каким бы зреей, таким зреей и остался. Будь мужчиной! - сказал Шпацкий и дал мне подзатыльник.

Сейчас же кто-то дернул меня сзади за шиворот: это тот, который меня поднял. Он меня так и держал, не отпуская.

- Убери лапу,- сказал ему Шпацкий через мою голову,- убери лапу - не зарься.

- Что? - спросил сзади голос, высокий и неприятного тембра. - Что? Это я его взял, и вались ты...

- Куда?- спокойно спросил Шпацкий. - Что же ты молчишь, Понтила? Боишься, что я хрясну тебя по роже? Так? Рука сзади выпустила мой воротник.

- Ты подумал, прежде чем сказать?- спросил тот голос через мою голову.

- Я подумал,- сказал Шпацкий, приклеивая к нижней губе сигарету,- а вот ты, дубина, бросился под ноги и смазал нам процент. В кучность. В точность тоже,- добавил он,- и кроме того,- сказал он, подумав,- мы могли бы продырявить твою поганую шкуру, придурек. Правда, убиток небольшой - потерять такого безмозглого кретина,- не из-за тебя пришлось прекратить стрельбу. Понимаешь, дурак?

Белобрый вервизла вышел из-за моей спины к Шпацкому.

- Ты меня назвал дураком, Шпак,- сказал он Шпацкому,- и еще ты хотел хряснуть меня по роже. Хрясни,- сказал Понтила,- хрясни- посмотрим, кто из нас дурак. Что а ты не хрянешь?

Шпацкий вынул сигарету изо рта, посмотрел Понтиле под ноги.

- Если заслужишь, хрясну,- уклончиво ответил он.

Понтила резко ударил его по руке, и сигарета Шпацкого упала на землю рядом с моей.

К этому времени я уже пришел в себя и злобно подумал, что было бы неплохо, если бы Понтила немного вздул

наглого Шпацкого.

Шпацкий посмотрел на Понтилу и передал свой автомат одному из десантников. Понтила тоже отдал свой автомат и вплотную надвинулся на Шпацкого.

Неожиданно взвизгнул и шлепнул стек. Взвизгнул и шлепнул снова. Противники отпрыгнули и вытянулись по стойке "смирно". Между ними оказался худощавый щеголоватый офицер с погонами полковника и седыми висками. Он сделал два четких шага ко мне и, переломившись в талии, щелкнул каблуками. Тонкие, как ирам, губы согнулись любезной скобкой.

- Полковник Шедов.

Я назвал.

- Очень рад, очень рад! - сказал полковник. - Прошу простить - мы, кажется, вас задержали? Но вы не беспокойтесь, - остановил меня движением стека полковник, - мы выдадим вам справку. С круглой печатью! - веско добавил полковник.

"Ну, что ж, действительно, раз уж так... раз уж не удалось... И вообще, хоть это и черт знает какая гнусность, но, может быть, хоть справку дадут? - подумал я. - Справку-то надо-бы получить."

- Нет ли у вас каких-либо претензий? - любезно осведомился полковник. - Может быть, кто-нибудь был с вами груб? Может быть, недостаточно корректен?

Я подумал, что пока никакой особенной грубости не было /все в общем-то в рамках военной ситуации/, но то, что они засели под водонепроницаемой башней... А то, что я был уже по ту сторону траншеи, когда они... Я открыл было рот, но тут же перед самым носом увидел громадный кулак Шпацкого.

- Вот! - крикнул он. - Вот! Только скажи, скотина! Только попробуй!

- Нет, - сказал я, - никаких претензий: все было корректно. Что мне толку? - подумал я. - Что от этого изменится? Нет, ничего, - сказал я.

- Ну и отлично! - успокоился полковник. - А справку дадим,- затем, зачем-то подмигнул и добавил. - Для жены!

- Но сам факт, согласитесь... - начал было я.

- Согласен-согласен,- перебил меня полковник,- заранее согласен со всем, что бы вы ни сказали. Знаю, что вы не скажете ничего такого, с чем я мог бы не согласиться. Ведь правда?- значительно улыбнулся полковник. - Правда,- сам себе подтвердил полковник. - А почему? /полковник вопросительно посмотрел на меня/. Потому,- сказал полковник,- что вижу в вас интеллигентного человека. Ведь я прав насчет интеллигентности? Ведь вы же интеллигентный человек? Ну вот.

- Кстати, вы не говорите по-французски?- спросил полковник.

Я сказал, что не говорю.

- Ах, как жаль!- огорчился полковник. - Ведь это так высканно- говорить по-французски. Зря не говорите- это, между прочим, ложный патриотизм: французский язык не исключает любви к Родине, так же, как и наоборот. "И чужое штудируйте, и от своего не отказывайтесь",- сказал поэт. Вот, например, Наполеон,- сказал полковник,- казалась бы, что он нам? А между тем, великий полковник. Я хотел сказать - полководец,- поправился полковник.

- Марш-марш!- внезапно закричал полковник десанникам, которые все еще толпились вокруг, и ватага с воплями умчалась.

Остался только Шпацкий, которого полковник мановением стэка задержал.

- А вы, Шпацкий,- сказал полковник,- подготовьте отчет. Сведите концы с концами и подготовьте. Обратите внимание на точность и кучность. Посмотрите, что можно сделать с процентом- это самое тонкое место. Все, Шпацкий, можете идти.

Шпацкий щелкнул каблуками и отправился велед за десанниками. Полковник задумчиво посмотрел ему велед. Потом он длювите пеньхал воздух, подергал носом: и правда,

В воздухе вокруг нас все еще держался острый запах пота.

- Грубые скоты! - сказал полковник. - Провоняли, как свиньи.

Он достал из нагрудного со складочкой кармана маленький изящный флакончик, встряхнул его и стеклянной пробочкой аккуратно помазал потемневшие подмышки своего щегольского френча.

- Не желаете воспользоваться? - спросил он, снова встряхивая флакончик. - Знаете, за день набегаетесь по колмам, накричитесь, наваяетесь в пыли - не всегда есть возможность умыться, - ну так, чтоб запах отбить - духи. Попробуйте, хорошие духи - плохих не уастребляю. Только самые лучшие, "Запах Манели". Ах, Манель-Манель - мечтательно прошепел полковник. - Много ли надо военному? - сказал полковник. - Хорошие духи, рюмочка коньяку, да ароматная сигарета. Да еще голубые глаза, которые проводили бы в поход и оплакали твою кончину. Я, знаете ли, романтик, - сказал полковник, - немного романтик, как все военные.

Полковник, как будто, слегка опьянел.

- Это генетика, - сказал полковник, - генетика во всем виновата.

- Простите, полковник, я не понял, - не понял я, - в чем генетика виновата? - вообще-то мне было все равно, и я просто поддерживал разговор. Из вежливости.

- Ну, в романтике, - сказал полковник, - в романтике, и это... дурные запахи тоже.

- А разве это одно и то же? - спросил я.

- Что "то же" - переспросил полковник.

- Романтика и эти запахи.

Полковник рассмеялся.

- Ха-ха-ха! - рассмеялся полковник.

- Что вы! Это совсем разные вещи. Это даже противоположные вещи. Да романтика просто исключает дурные запахи.

- Тогда я не понимаю, что же общего?

- Да ничего общего, - смеялся полковник. А-а-а, понимаю, - догадался полковник, - вы сопоставляете романтику и

дурные запахи, так? Нет, я не это имел в виду. Романтика и генетика — вот, что я имел в виду.

— А! — сказал я. — Это другое дело. Но романтика, это ведь, кажется... — бригантини?..

— Не только бригантини, — сказал полковник, — не только бригантини, хотя и бригантини тоже. Но я понимаю, что вы хотите сказать, — сказал полковник, — понимаю: я вижу это насквозь. Вас интересуют связи? Ну, что ж, попробую объяснить, попробую, так сказать, удовлетворить ваше любопытство. Тут, видите ли, глубокие корни, — сказал полковник, — очень, очень глубокие корни. Они уходят, так сказать, вглубь веков, в глубинные пласты народа. В некотором смысле, наука, прогресс, можно даже сказать, техническая революция; но понятия человеческого достоинства, чести, присяги — эти понятия достались нам в наследство от дворянства. Понимаете, насколько глубоко это уходит?

— Нет, — сказал я, — ничего не понимаю. Причем тут дворянство? В наш век — и какие-то феодальные понятия?

— Гуманен-гуманен! — согласился полковник. — Я не отрицаю: наш век гуманен и прогрессивен. "Гуманизм и интеллектуализм" — вот, что надо было бы начертать на нашем щите. Я и сам говорил о технической революции. Но согласитесь, и в наших врагах что-то было. Они все-таки тоже были в чем-то прогрессивны.

— Да как же "прогрессивны"? — возразил я. — Ведь это же была реакция!

— Реакция, — сказал полковник, — реакция — не спорю. Но все-таки передовые представители реакции, они ведь поняли, приняли... Нужно шире смотреть на вещи. Конечно, принципиально вы правы, но на деле... Ведь все эти чувства... Ну, вот эти самые... долга, чести, гордости — все это от них. Ну и потом — манеры: это ведь тоже кое-что значит. Не-э-эт, все-таки во дворянстве что-то есть.

Полковник потянул носом и закрыл глаза. Он остановился. Мне тоже пришлось остановиться, чтобы его подождать.

Полковник достал из кармана маленький кожаный портсигар и вынул из него сигарету.

- А кроме всего,- сказал, закуривая, полковник,- еще и древний род. Я надеюсь, в этом вы дворянству не откажете? Сколько поколений! - сказал полковник. - Вот генетика это и доказывает. Например: вяли кобылу /неважно какой масти/, пустили к ней самца зебри, спустя нужное время, кобыла рождает жеребят,- полковник лукаво взглянул на меня и сказал. - Все полосатые!

Нет, это не все,- продолжал полковник. - Дальше: берут кобылу /ту же самую/, запускают к ней обычного жеребца /битюга, хама, конягу.../. Что происходит?

Полковник выжидательно посмотрел на меня.

- Да то же самое! - восхищенно сообщил полковник. - Опять полосатые жеребята! Что за черт?! Скажете, фокус? Нет - генетика! Вот так же и с дворянством,- заключил полковник.

Я сказал, что не вижу тут связи.

- Как! - удивился полковник. - Что ж тут неясного? Я же вам объясняю: из рода в род, из поколения в поколение передается одно какое-нибудь качество. В данном случае - полосатость, ну а у дворянства - другие качества: долг, честь, присяги... Чисто генетически.

- Нет, полковник,- сказал я,- вы не подумайте: я не против присяги, и чувство долга я тоже одобряю, но зачем же дворянство? Эти чувства возможны и без дворянства. Всем ведь известно, что дворянство пользовалось льготами, в то время как народ и население жила в кабале.

- Мире смотрите на вещи! - призывал полковник. - Немножко свободомыслия! Нельзя так однобоко трактовать этот предмет. Разумеется, наш век - век прогресса: тут и разделение труда, и равенство, и гражданские права... Но не все же права? Должны же быть и обязанности. Ведь так?

- Полковник! - вскричал я. - Вот только перед этим, поверите ли?! то же самое думал.

- Я сразу увидел в вас интеллигентного человека,-

сказал полковник. — Как увидел, так и сказал себе: "Вон там, в долине, среди холмов, стоит интеллигентный человек".

— Однако, что же мы стоим? — встрепнулся полковник. — Нам надо идти. Пойдем. Нехорошо заставлять себя ждать.

— Да-да, полковник, мне тоже надо спешить: жена уже давно ждет меня дома и она, наверно, беспокоится, не случилось ли со мной...

— Не беспокойтесь, — перебил меня полковник, — мы непременно выдадим вам справку. Вот разве что... — полковник приостановился.

— Что, полковник? — спросил я. — Что-нибудь...

— Да нет, — сказал полковник. — А она что, вам очень нужна?

— Вообще-то неплохо бы, полковник.

— Необходимо, или просто неплохо бы?

— Вообще-то нужно, полковник.

— Для жены?

— И для жены... — сказал я. — И для жены.

— Ладно! — сказал полковник, взяв меня за локоть, предлагая идти дальше, — ерунда, не беспокойтесь, устроим. Не зря же я послал Енацкого... дадим.

Мы пошли вперед и вверх, и полковник, с улыбкой поведя рукой на холмы, вдруг сказал:

— Неправда ли, это похоже на море, грозное, бушующее море и волны, неправда ли?

— Да, — согласился я, — мне тоже приходило в голову такое сравнение.

— Я в детстве мечтал стать моряком, — усмехнулся полковник, — в детстве, в далеком детстве. "Милая, невозвратимая пора детства! — с чувством сказал полковник. — Как не любить, не делить воспоминаний о ней!"

— А вы? — спросил полковник. — Вам когда-нибудь хотелось быть моряком?

— Конечно, полковник, — ответил я, — еще как хотелось!

— Почему ж не стали? — спросил полковник.

— Не знаю, полковник, — ответил я, — даже не знаю.

Как-то так, не случилось. А вы почему? - в свою очередь спросил я полковника. - Вы почему не стали?

- Хм! - сказал полковник. - Это сложный вопрос, - сказал полковник. - В сущности, какая разница: моряк, десантник? - никакой разницы нет. В жизни всегда есть место, - сказал полковник. - Всегда найдется место мужеству, отваге, благородству. Моряком! А вы думаете, десантником быть легче? Нет, быть десантником - это не только романтика, но и тяжелый труд. Постоянная упорная учеба, стремительные марш-броски; патристические занятия. Вот один только человек с вами...

Полковник замолчал и некоторое время шагал молча.

- И все-таки, - сказал, помолчав, полковник, - если бы мне снова пришлось выбирать, я бы снова выбрал десант.

- Ну, что ж, - сказал я. - Только, если вы хотели стать моряком...

- Э-э-э, - сказал полковник, - вы неправы. Не спорю, в море тоже есть своя прелесть. В покорении стихии есть много положительного, но согласитесь, - сказал полковник, - это все-таки неодушевленная стихия. Насколько интересней путешествовать в море людском. Нет, самое главное - это человек. Я люблю людей, - с воодушевлением продолжал полковник. - Сколько профессий, характеров, убеждений! И здесь, в общении с людьми, десантник всегда должен быть на высоте, всегда на коне. Порядочность, чуткость, душевная тонкость - вот качества, которые ныне определяют моральный облик десантника.

- Ничего себе! - возмущенно воскликнул я, снова вспомнив засаду под башней, да и все остальное тоже. - Ничего себе порядочность!

- Как, вы не согласны?! - полковник, оскорбленный, остановился.

Я тоже, оскорбленный, остановился.

- А с чем же тут соглашаться?! - крикнул я.

- Как с чем? - сказал полковник. - Со всем.

- А если это не так!

- Не так? - сказал полковник. - Не тонок, не чуток, вообще грубый солдафон. Так? - спросил полковник.

- А вы знаете? - громко заговорил полковник. - Знаете ли вы, что думал этот грубый солдафон, стоя там, на холме? Знаете ли вы это? - спросил полковник, указывая стогом назад, на холмы. Его тонкие губы дрожали. - Знаете?

Я сказал, что не знаю.

- А что я сказал себе, стоя там, на холме?

Я сказал, что и этого не знаю.

- Полковник Шедов! - крикнул полковник Шедов.

Я вздрогнул.

- Не бойтесь, - тяжело сказал полковник, - это свое, личное. Неболевшее! - крикнул он.

Я опять вздрогнул.

- Пойдем, - устало сказал полковник.

Мы пошли. Полковник на ходу достал портсигар, на ходу закурил и снова остановился.

- Так вы хотите знать? - спросил меня полковник.

- Что - знать?

- О чем я думал там, на холме, и что я сказал себе.

- Да, конечно, если можно, полковник.

- "Полковник Шедов! - думал я, стоя там, на холме. - Полковник Шедов, - сказал я себе, - вот там, в долине, среди холмов, стоит интеллигентный человек. Он нуждается в вашей помощи, полковник. Так идите же и помогите ему". - Вот что я говорил себе, стоя там, на холме.

Полковник достал белоснежный платок и вытер пот со лба.

- Теперь вы видите? - сказал полковник. - Видите, как вы неправы насчет тонкости?

Я не спорил, хоть я и не имел в виду тонкости.

- А кто заставил меня так поступить? - уже спокойнее спросил полковник. - Кто или что? Да никто и ничто, - ответил полковник.

- Совесть,- убедительно сказал полковник,- совесть меня заставила так поступить. Совесть плюс солидарность. Два эс.

Полковник сделал стэком решительный жест, и мы двинулись дальше. Полковник шагал, молча и не глядя на меня: было видно, что он на меня обиделся.

- Полковник,- сказал я,- вы не подумайте; я вовсе не против десанта: я не против морального облика, я только...

Полковник на ходу взглянул на меня, горько улыбнулся.

- "Только"! - саркастически сказал полковник. - "Только!" - повторил он. - А вы выстрадали себе моральное право на это "только"? Странное дело,- сказал полковник,- искусство, политика и десант - три отрасли, в которых каждый считает себя знатоком. Почему? - на ходу развел рукой и стэком полковник. - По какому праву? Что бы сказали вы, если бы я принялся учить вас основам вашей профессии? Молчите?- сказал полковник. - А я вам скажу: вы престо посмеялись бы надо мной, и были бы правы. А вы? На каком основании вы беретесь судить наши дела? Что вы знаете о нас, о наших задачах, о наших сложностях? Да знаете ли вы хотя бы, что такое опасность?

- Конечно, полковник, не в такой степени, как вы, но все же.

- Не-э-эт,- покачал стэком полковник,- вы не знаете, что такое опасность, не знаете. И знаете почему? - спросил полковник. - Увидев, что я не отвечаю, полковник ответил сам. - Потому,- ответил полковник,- что вы во всем видите исключительно дурную сторону. Вы обобщаете,- сказал полковник,- не нужно обобщать.

- Опасность! - вдохновенно сказал полковник. - Опасность это такое чувство, такой момент... это свист пуль, вой снарядов, разрывы гранат, это бешенный пульс, это стократно усиленное ощущение жизни, когда все, все на свете собирается вместе, чтобы вспыхнуть в едином мгновении,- это... э-э-э...

- Самость?- поцекзал я.

- Да, - сказал полковник, - вот нужное слово, именно самость, - сказал полковник, стараясь попасть в ногу, - самость.

- Вы экзистенциалист, полковник? - спросил я полковника.

- Немного, ответил полковник, - немного экзистенциалист, как все военные. Впрочем, это неважно, - сказал полковник, - вы не увлекайтесь, - ему все никак не удавалось попасть в ногу. - Не увлекайтесь - я вовсе не это хочу сказать. Я об этом так, между прочим, а *propos*, по-французски говоря. Я, собственно, не о феномене опасности, я в другом смысле, и вообще. Это для вас - самость, а для нас... для нас это обычная жизнь. Будни, понимаете? - значительно сказал полковник. - Подвиг, превращенный в будни. Нет, скорее, будни, превращенные в подвиг, - поправился полковник. - Вот так, - сказал полковник. Ему, наконец, удалось попасть в ногу. - Будни, превращенные в подвиг. А? Как это звучит! - сказал полковник. - Постоянное, ежедневное преодоление себя, - сказал полковник, - и другие, - добавил он.

Полковник некоторое время задумчиво шагал. Я тоже некоторое время задумчиво шагал.

- А во имя чего? - внезапно воскликнул полковник. - Во имя чего?

- Что - "во имя чего", полковник? - спросил я.

- Ну, во имя чего все это: подвиг, будни... преодоление?.. - спросил полковник.

Я сказал, что совершенно с ним согласен, что мне это тоже кажется нелепостью.

- Как! - остановился пораженный полковник. - Идея мира и безопасности кажется вам нелепостью?

- Нет, почему же, полковник? - удивился в свою очередь я. - Разве я сказал что-нибудь против безопасности? Напротив, я - за. Поверьте, я еще там, когда шел, то же самое думал. Мне очень дорог мир.

- Дорог? - сказал полковник. - Вам - дорог. А нам?

Десанту?

- Я вообще-то не думал об этом, полковник... - сказал я.

- Не думали? - сказал полковник. - А стоило бы подумать. И крепко стоило бы.

- Кто, по-вашему, несет все тяготы и лишения войны? - сказал полковник. - Кто, постоянно рискуя жизнью, защищает поступательную нерушимость наших границ? Кто, пребывая в походах, умиленно вспоминает минуты покоя и тишины?

Десант, - ответил полковник. - Так кому же больше всего желать мира, как не десанту? Именно десанту, - сказал полковник. - И пока мир в руках десанта, - полковник возвысил голос, - вы можете спать спокойно. Десант надежно защитит мир от всяких посторонних посягательств.

- А-а-а... от каких, полковник?

- От всяких, - сказал полковник, - от штатских, например.

- От штатских?!

- Ну, конечно, от штатских, - сказал полковник, - от штатских, в первую очередь.

- Как! А-а разве штатские не хотят мира, полковник? - спросил я.

- Не хотят, - грустно ответил полковник, - пороку не ныхали и не хотят. Им вообще наплевать: мир или война.

Полковник вытащил кожаный портсигар.

- Вот и вы тоже, - недовольно сказал полковник, - вам тоже все равно.

Полковник сунул свой стэк подмышку и, не глядя на меня, закурил.

- Все штатские одинаковы, - продолжал полковник, снова двигаясь в путь.

Я растерялся.

- Но почему, полковник? Ведь я уже говорил вам...

- Демагогия! - прервал меня полковник. - Демагогия. Абстрактно всем хочется мира. То есть никто не против.

Конечно, каждому приятно сидеть за толстыми стенами, за широкой спиной десанта. А как насчет ангажированности? — спросил полковник.

- Какой ангажированности?

- Ну, такой, обыкновенной, — сказал полковник.

- Простите, полковник, я не очень вас понимаю, — сказал я. — Я, собственно, не знаю, что это такое, ангажированность.

- Ну, это понятие такое "ангажированность", — пояснил полковник. — Скажем, "назвался груздем — полезай в кузов". Это и есть ангажированность.

- Извините, полковник, но я не понимаю.

Полковник нетерпеливо щелкнул себя стэком по сапогу.

- Вы живете в обществе, — сказал полковник, — пользуетесь, так сказать, транспортом. Есть и другие места общественного пользования. А как же с "груздями"?

- С какими груздями, полковник? Я ничего не могу понять.

- Вы — назвались груздем?

- А? Нет, не назывался.

- Не назывались?

- Нет.

- Тогда, о чем мы вообще говорим? — обиделся полковник.

- Я не знаю, полковник, — сказал я, — по-моему, вы говорили об ангажированности.

- Ну вот, я и говорю, — сказал полковник, — "грузди", ангажированность — какая разница? Вообще какая разница, кто как назвался? Это не важно. Ведь вы согласны с тем, что, проживая в обществе, нельзя быть свободным от общества?

- Да, разумеется, полковник, — сказал я. — Я и сам всегда считал, что ответственность...

- Вот-вот, — сказал полковник, — следовательно, вступая в игру, вы принимаете и условия этой игры, и вы обязаны их выполнять.

- В принципе, верно, полковник, только я не понимаю,

о какой игре вы говорите.

- Ну, об этой,- сказал полковник, махнув стэком на холмы,- об этой, о патристической.

- Та-ак,- сказал я,- игра...

- Игра,- подтвердил полковник.

- Но это ваша игра, полковник,- сказал я.

- Наша,- сказал полковник.

- Простите, полковник, но причем же здесь я?

- А притом,- сказал полковник,- что это и ваша игра.

- Моя?!

- Ваша,- сказал полковник.

- Но позвольте, полковник, почему?- удивился я.

- Потому,- сказал полковник,- что вы играете в эту игру.

- Я?!

- Вы.

- Я играл в эту игру?

- А как же,- сказал полковник,- судите сами: вы прятались, бежали- разве не так?

- Ну, так.

- А для чего вы прятались? - спросил полковник.

- Ну, как?... Чтобы выяснить, не угрожает ли мне какая-нибудь опасность.

- А для чего бежали?

- Боже мой, да потому, что в меня стреляли, полковник!

- А если бы в вас не стреляли, то вы, вероятно, не стали бы бежать.

- Нет, разумеется, нет. Зачем?

- Резюме,- сказал полковник,- имела место некая совокупность действий.

- Какая совокупность действий?

- Не какая, а чья,- поправил полковник,- чья. Ваша совокупность действий,- сказал полковник.

- Моя?

- Не ваша, а ваша с десантом,- раздраженно сказал

сказах полковник. - Совокупность ваших действий с действиями десанта. Так вам понятно? - спросил полковник.

- Про совокупность понятно, - сказал я, - только я не пойму, причем здесь игра.

- Как при чем?! - удивился полковник. - Так ведь эта совокупность... это же и есть игра.

- Значит - игра?

- Игра, - сказал полковник, - и строгая игра, - сказал полковник, и уж если вы приняли условия этой игры, то извольте их выполнять.

- О каких условиях вы говорите, полковник? Не принимал я никаких условий. Я даже не подозревал о них, я и правил этой игры не знаю, - ничего.

- Скажите, - сказал полковник, - разве перестанут звезды циркулировать только оттого, что вам неизвестно об их циркуляции?

- Нет, конечно, полковник, не перестанут.

- А снег? - спросил полковник. - Снег прекратит свое падение, если вы, находясь в условиях южного полюса, не подозреваете о нем?

- Нет, - сказал я. - Нет, полковник, это не зависит от меня.

- А правила зависят от вас? - спросил полковник.

Я молчал.

- Нет, - сказал полковник, - правила существуют независимо от вас.

Мы молча поднимались на холм. На тот самый холм, на котором располагался лагерь. Я его уже видел с двух сторон, и теперь мы снова поднимались к лагерь, на этот раз с третьей стороны.

- Как же так? - думал я, поднимаясь рядом с полковником по склону холма. - Как же так? Разумеется, полковник прав, и правила игры не зависят от меня. Разумеется, они не изменятся от того, что я их не знаю, что-то тут не то. В

чем-то и полковник ошибается. Та-ак,- подумал я,- офицер объяснил мне как я должен идти... Та-ак, территория десанта... Та-ак, я не должен был их встретить... А траншея?" - вспомнил я.

И тогда я вспомнил все остальное. Я возмутился.

- Полковник! - сказал я.

- Да? - сказал полковник.

- Полковник, вот вы сказали, что игра, условия... вы сказали, что правила...

- Ну-ну! - нетерпеливо сказал полковник.

- Но ведь десантники... Они ведь... Ведь они сами нарушали правила, полковник.

Полковник остановился. Он медленно повернул ко мне свое лицо.

- Простите,- сказал полковник,- что вы этим хотите сказать?

Я немного испугался.

- Ну его! - подумал я. - Он, конечно, любезный, любезный, этот полковник, а вдруг да еще хлестнет стэком. Вот какой у него стэк!

Но отступать было некуда.

- Видите ли, полковник,- осторожно начал я, - я, конечно, очень вам благодарен за вашу помощь... Вам, лично,- сказал я. - И вы, вероятно об этом не знаете, но ведь факт остается фактом. Ведь так?

- Да, это так,- напряженно сказал полковник. - Факт всегда, везде и при любых обстоятельствах остается фактом.

- Вот видите,- сказал я полковнику. - А они, ваши десантники, на протяжении всего пути подстерегали меня. Они ждали меня, полковник. А во-вторых, то, что они устроили засаду уже по ту сторону, ведь это вообще ни на что не похоже.

Лицо полковника медленно потемнело.

- Не похоже?- сказал он.

- Не похоже,- сказал я.

- Ни на что?- сказал полковник.

- Ни на что,- сказал я.

- Нет, похоже,- сказал полковник.

- На что?- сказал я.

Полковник молчал.

- Знаете,- сказал, наконец, полковник,- есть вещи, которых деликатный человек не замечает. Не должен замечать, просто не позволит себе заметить. Например, кто-нибудь чихнул... ну, есть и другие звуки... Вот как бы вы поступили в подобном случае?

Я сказал, что не знаю, что у меня таких случаев не было.

- А я знаю,- сказал полковник,- у меня были. И я вам со всей ответственностью заявляю,- сказал полковник,- что я в таком случае просто не замечу, промолчу, как будто ничего не было. Может же человек простудиться?

- Да, конечно, человек может простудиться, но...

- А вы помните, что я говорил вам об искусстве?- крикнул полковник.

- Об искусстве?

- Да, да, об искусстве, о политике,- крикнул полковник,- помните? Почему же вы беретесь судить о том, в чем не разбираетесь? Почему вы беретесь учить нас тонкостям нашей профессии? Что вы знаете о нашей работе, о ее сложностях и трудностях. Точность, кучность, процент смертности!..

- Полковник, а что это? Точность, кучность, этот процент...

- А-а-а! - махнул стэком полковник. - Это понятия такие... Точность, кучность... Понятия такие. Да я не об этом - сказал полковник,- это так, между прочим. Главное - деликатность. Деликатность и честь полка. Делайте со мной что угодно! - воскликнул полковник. - Делайте, что угодно, но не трогайте полк. Я за честь полка готов в огонь и в воду. Честь полка превыше всего!

Мы стояли на вершине холма, того самого, на котором я делал разведку, где лагерь. Он теперь несколько изменился

не холм - лагерь. То есть вся обстановка в нем изменилась. Палатки, правда, по-прежнему стояли в четыре ряда, но походная кухня вместе с поваром куда-то исчезла. На ее месте теперь стоял массивный письменный стол с резными львиными лицами и фруктами /тоже резными/. Этот стол, вероятно, вытащили из фургона, двустворчатые дверцы которого были еще раскрыты. Да, видимо его оттуда вытащили. За столом, в высоком, тоже львином, с фруктами, кресле, перебросив тяжелые ноги через подлокотники, сидел Шпацкий и курил. Увидев нас, он вскочил с кресла, вскочил из-за стола и щелкнул каблуками. Замер.

- Вольно, Шпацкий! - махнул на него стэком полковник, когда мы подошли. - Как у вас с отчетом? Готово?

- Готово! - гаркнул Шпацкий и, отпрыгнув за стол, выдернул ящик, выхватил папку и припечатал ее к столешнице.

Я осмотрелся: в лагере, кажется, больше ничего не было. Полковник обошел стол и уселся в высокое кресло, стэк он положил рядом с папкой на стол.

- У вас есть с собой документы? - спросил меня полковник.

- Да, вот мой паспорт, - сказал я и подал ему паспорт.

Полковник протянул руку через стол, взял паспорт, но не раскрыл его, а так и держал навесу.

- Скажите, - спросил меня полковник, - на Малой Средней, где вас откорректировали, вы предъявляли его патрулю?

- Нет, полковник, они не просили меня об этом.

- Стало быть, не предъявляли.

- Нет.

- А фамилию, имя, отчество патруль тоже не спрашивал?

- Нет, полковник, мне только объяснили, как я должен идти и все.

- Отлично, - сказал полковник и вернул мне паспорт, - возьмите паспорт - верим вам на слово.

- Спасибо, полковник!

- Не за что,- ответил полковник. - Шпацкий, ко мне! Шпацкий, который и так стоял рядом с креслом, теперь наклонился над столом. Полковник развязал тесемочки коленкоровой папки и вынул из нее голубенькую ученическую тетрадь. Раскрыл ее. Тетрадь была аккуратно разграфлена синим карандашом, и в карандашных клеточках стояли какие-то черные и красные цифры и записи.

Полковник поднял глаза от тетради.

- Стойте туда,- тихо сказал мне полковник, и, взяв со стола стек, указал стеклом, куда мне отойти.

- Я не хочу впутывать вас в это дело,- сказал полковник,- это, знаете ли, наше, военное.

Он наклонил голову с тонким пробором и стал рассматривать что-то в тетради. /Записи или цифры - не знаю/.

- Что ж это?- внезапно сказал полковник, поворачивая лицо в Шпацкому. - Что ж это? Не сходится.

- Только процент,- вытягиваясь, ответил Шпацкий.

- А точность?- спросил полковник. - А кучность?! А честь полка! - гневно вскричал полковник. - Часть полка, она для вас ничто?! Преворонили, проморгали, скоты! - полковник хлопнул обеими ладонями по тетради.

Некоторое время они со Шпацким молчали. Шпацкий, только вытягиваясь, моргал.

- Так! Что же будем делать?- спросил полковник.

Шпацкий, наклонившись, стал что-то шептать ему на ухо.

- А-а. Нет,- отмахнувшись полковник,- невозможно.

Но Шпацкий еще горячее что-то зашептал. Шпацкий от возбуждения даже покраснел.

- Нет, нет,- отмахиваясь полковник,- не могу, генетически невозможно. Мое слово - закон.

Шпацкий совершенно вспотел.

-Уф-ф! - сказал Шпацкий и выпрямился.

Полковник подпер голову кулаками и опять задумался.

"Что они? - подумал я. - Выясняли бы без меня. Отпустили бы меня, а потом выясняли."

- Ладно,- сказал полковник,- хорошо, попробуем. Значит пишем: "Личность не установлена".

Он вытаскил из нагрудного со складочкой кармана элегантную ручку в виде винтовки и что-то написал в тетрадке. /Вероятно, про эту личность/.

- Семьдесят два? - спросил полковник.

- Так точно, семьдесят два.

- Хорошо,- сказал полковник,- с этим все,- и записал.

- Ну вот и все,- улыбнулся мне полковник,- все формальности закончены. Сержант Шпацкий отвезет вас в город.

"Ну что ж,- подумал я, это кстати: это сэкономит мне время. Какую-то часть возместит. Уже что-то. Наверное, у полковника есть эти чувства... Нет,- подумал я,- может быть, во дворянстве что-то и есть."

- И вам очень признателен, полковник,- сказал я,- это очень кстати, ведь поезд будет еще не скоро. И тебе, Шпацкий, тоже большое спасибо, с твоей стороны это тоже любезно.

- Да что там!.. - даже смутился Шпацкий. - Что там! Подумаешь, любезность! Мы же с тобой одноклассники, как никак.

- Нет-нет, ты не говори,- от смущения Шпацкого я и в самом деле начинал чувствовать благодарность. - Не отрицай- это очень здорово: это все-таки облегчает.

- Ну будет, будет,- ласково прервал полковник,- в дорогу!

- Пошли,- сказал Шпацкий и хлопнул меня по плечу.

- Да-да, бежим,- сказал я,- сейчас! Сию минуту! Полковник,- обратился я к полковнику,- вы говорили о справке... что вы справку дадите... что с круглой печатью... Так, действительно, она бы мне пригодилась. Особенно, если с круглой печатью.

Шпацкий оставил мое плечо, на которое нажимал. Он перестал нажимать мне на плечо и стал рядом. Полковник стал грустен.

- Мими! - сказал он.

- Видите ли,- сказал полковник,- тут не все гладко выходит.

- А что, полковник? Что - не гладко?

- Да тут у нас не все сходится,- сказал полковник,- не все соответствует.

- А что не соответствует, полковник?

Полковник немного поколебался.

- Тут такая неувязка,- сказал полковник,- справку-то требуете вы.

- Да, я, полковник.

- В том-то и дело. А на чье имя мы ее выдадим?

- Как, полковник! На мое, конечно. На мое имя.

- Вот-вот,- сказал полковник, - на ваше. А как я вам ее выдам, если личность не установлена.

- Почему же не установлена, полковник?- сказал я. - Вот, пожалуйста, мой паспорт.

- Не надо,- сказал полковник,- паспорт не надо - мы верим вам на слово, а это - не ваша личность. Вообще личность. Тут другое, тут, понимаете, процент.

- Какой процент, полковник?

- Процент смертности.

- А что это, полковник? Вы мне тогда не сказали...

- Ну как вам сказать?.. - сказал полковник. - Есть всякие понятия. Я не говорю о точности, кучности - я не об этом говорю. Я даже не говорю вам о чести полка, поскольку штатскому этого все равно не понять. Но ведь есть же в конце концов два ЭС.

- Два ЭС? - повторил я.

- Ну да, два ЭС: совесть, солидарность. Вы что, не помните?

- А-а-а! да,- сказал я,- совесть, солидарность... Да, есть.

- Ну да,- сказал полковник,- совесть, солидарность: вы нам - мы вам.

- Простите, полковник, я не понимаю.

- Послушайте,- сказал полковник. - Что же тогда со-

весть и солидарность, по-вашему? Так, болтовня? Пустой звук?

- Почему - звук?

- Подумайте, - убедительно заговорил полковник. - Ну, зачем вам эта справка? Зачем она вам? Вы что, не можете без нее обойтись? Умрете вы без нее, что ли?

Я и правда вполне мог обойтись без этой справки, но меня, по совести говоря, заело.

- Да нет, полковник, я, конечно, без нее не умру, - сказал я, - конечно, я без нее не умру, и конечно, я могу без нее обойтись, несмотря на то, что теперь, после такой задержки, она мне могла бы здорово пригодиться, конечно; но поскольку вы обещали, то я думал, что...

- Я от своих слов не отказываюсь, - сказал полковник, - я и чисто генетически не могу отказаться, и хоть это не вполне деликатно - ловить человека на слове, но, уж ладно, оставим этическую сторону в стороне. Но дело не в этом - дело в том, что личность не установлена.

- Но почему, полковник? я же предлагал вам паспорт. Так почему же...

- Для вашей пользы, - сказал полковник, - исключительно для вашей пользы.

- Но какая же мне в этом польза?

- Процент смертности! - прорычал полковник. - Процент смертности, точность, кучность!

- Полковник, вы все повторяете эти слова, а я не знаю, что они означают.

- Потому что ты кретин! - заорал Шпацкий мне в ухо. - Каким был в школе кретином, таким и остался. Ты должен был быть убит, понимаешь, убит. Ты что, воображал, что останешься жить, имея в брюхе семьдесят две дырки? Ты думал, что будешь жить?

Я с трудом удержался на ногах, так у меня ослабли колени. Конечно, они стреляли в меня, и, конечно, я понимал опасность, и понимал, что если б они в меня попали, то я был бы ранен или убит, но я никак не предполагал,

не мог предполагать, что целых семьдесят две дырки, — уж тут бы я обязательно умер. Я, за разговором с полковником, временно об этом забыл, а теперь вспомнил — и еле удержался на ногах, так ослабли колени. А когда я все-таки удержался на ногах, то снова возник этот вопрос: почему они стреляли? Зачем им нужно было меня убивать?

— Как же это? — прошептал я, удержавшись на ногах. — Почему я должен быть убит?

— Дурак! — заорал на меня Шпацкий. Он присел и стал больно тыкать меня пальцем в живот и в грудь. — Семьдесят две дырки, дурак! Семьдесят два входных отверстия, соображаешь! Да еще семьдесят два выходных. Здесь, здесь, здесь... Это точность и это кучность. А ты хотел бы ходить живым решетом?

— Нет, конечно, нет! — воскликнул я. — Зачем ходить?.. Зачем решетом? Но зачем же и стрелять?

— Ну посмотрите на этого нахала! — Шпацкий шлепнул себя по ляжкам. — Какой туница! А процент смертности, скотина?

— Какой процент?

— Ты входишь в процент смертности, остолоп!

— Да-да, — сказал полковник из-за стола, — процент смертности.

Полковник поглядел куда-то вдаль, подумав.

— Теперь вы видите, — сказал полковник, — что для вас же лучше не иметь этой справки? Личность не установлена; точность не нарушена; кучность достаточна. Вы нас не знаете — мы вас не знаем. Кто-то был — кого-то нет. Кому-то победа — кому-то ничья. Поверьте, это в ваших же интересах.

— Хорошо, полковник, — согласился я, — не надо справки, пусть не будет справки, но все равно я не могу понять, я не понимаю, полковник, почему я вхожу в этот процент?

— Га-га-га!.. Какой ушлый! — заорал Шпацкий. — Он бы хотел без риска! Чтоб наверняка! И на елку влезть — и рыбку съесть! Всем бы хотелось.

— Да-да, — из-за стола сказал полковник, — так не игра-

ит.

- Ну, знаете!.. - возмущился я. - Может быть для вас это и игра, полковник, а для меня... Что ж это за игра, в которой должны убиты!

- Э-э-э... - сказал полковник. - А вы бы хотели только выигрывать? Пардон, в каждой игре существуют свои правила, и уж раз вы играли...

- Но я же не хотел играть - меня заставили, полковник. Полковник, улыбаясь, смотрел на меня.

- Идиот! - ласково сказал Шпацкий. - Ведь это основное правило игры.

Шпацкий довез меня до города. По дороге больше ничего не случилось, только недалеко от Скипидарского Протока, возле траншеи, которую мы на этот раз переехали по мосткам, я увидел, как двое солдат саперными лопатками насыпают какой-то холмик вроде могилки. Я спросил Шпацкого, что это за могила, но он в ответ обозвал меня дураком. Еще, когда мы ехали по шоссе, он несколько раз норовился ударить меня, но ему каждый раз приходилось сразу же хвататься за руль, потому что машина резко виляла в сторону; так что для меня все обошлось. По пути он подобрал, и когда в городе он высадил меня возле кафе, он даже сказал мне, чтобы я по старой дружбе обращался к нему, если что-нибудь будет не так. Я поблагодарил его, хотя, по совести говоря, мне хотелось плюнуть ему в лицо.

Я еще немного постоял на улице и вошел в кафе, возле которого стоял. Несмотря на то, что я сверх всякой меры задержался, и на те мои мысли о безопасности, мне теперь почему-то совершенно не хотелось домой. Не то, чтоб я не скучал по жене или не хотел бы видеть кота, нет, я хотел видеть кота и по жене я, разумеется, скучал, но, может быть, нервное напряжение или какой-нибудь упадок сил, не знаю, и я зашел в это кафе. Мы иногда заходили сюда с женой позвать мороженого после кино, а теперь я зашел один. Я стал у стойки и, ожидая, пока буфетчица закончит какую-то свою

работу, смотрел в узкое зеркало, горизонтально висевшее за стойкой на стене. Я себя не узнавал: во всю левую щеку тянулась длинная пыльная ссадина, и серые от пыли волосы были взъерошены или всклокочены, не знаю, и глаза были дикие и непонятные, — вообще лицо было какое-то странное и чужое. Я подумал: что скажет на это моя жена? — но тут же об этом забыл: как-то было не до того. Я взял бутылку красного вина и сел за отдаленный столик в углу. Я залпом выпил один стакан и налил другой. И, понемногу отпивая, я стал смотреть через головы посетителей в окно, на редких прехозках, на троллейбусы и защитного цвета автомобили, которые время от времени проезжали по улице. Здесь, в кафе, было немного народу. Так, по несколько парочек сидели за голубыми столиками, да буфетчица за стойкой пересаживала с места на место какие-то железные стаканчики. Я хотел посидеть немного здесь в одиночестве. Я не знал, что мне сказать своей жене, и вообще нужно ли что-нибудь ей говорить, и я ни хотел об этом подумать. Но об этом не думалось, ни о чем не думалось — была какая-то тупость и тяжелое мрачное удовлетворение. Думаю: даже не от того, что остался жив, а просто от того, что все это, наконец, кончилось. Я потихоньку начал пьянеть. Не то чтоб меня стало клонить в сон или язык заплетался, но я почувствовал, что пьянею, и мне стало немного легче.

В это время стеклянная дверь распахнулась, и в кафе с шумом ворвалась компания военных и сгрудилась у пластиковой стойки. Все они были возбуждены и громко спорили об экзистенциализме, но я ничего не понял, кроме слов "точность" и "кучность". Правда, и этих двух слов было достаточно, чтобы мое опьянение прошло и наступила трезвость. Я встал и, проходя мимо столиков, еще услышал, как один из военных восхищенно воскликнул:

— Но полковник Шедов, а!

И кто-то ответил:

— Наполеон!

Я вышел. Воздух со свистом вырывался из всех сенде-

сати двух дырочек в моей груди и животе, как будто они и в самом деле были. Мне хотелось плакать от боли. А кроме боли было еще чувство бессилия, и чувство одиночества было еще острее, чем там, в холмах. И, если бы у меня было хотя бы сознание своей правоты, оно бы ослабило эти чувства, оно бы поддержало меня, но и сознания правоты у меня не было. Не было и чувства Родины — я был заброшенным и пустым. Когда я, наконец, добрался до своего дома, боль стала неминуемо проходить. Но чувство не-прежнему оставалось: я имел в виду чувство одиночества, а не Родины. Здесь, уже подходя к воротам, мне показалось, что под аркой мелькнуло пестрое летнее платье моей жены. Но я не был в этом уверен, потому что, войдя во двор, я ничего не увидел, и, поднимаясь по лестнице, не услышал никаких шагов. Поднимаясь и все еще прислушиваясь, не к шагам, а к отголоскам боли в моих семидесяти двух дырочках, я осторожно обходил стоявшие на площадках переполненные бачки с рассыпанными вокруг них картофельными очистками, ржавыми огрызками яблок и огурцами, и с отвращением читал надаранные ключом или гвоздем на крашеных стенах надписи. Прежде я старался не обращать на них внимания, но сегодня, видимо, для того, чтобы еще немного задержаться, читал. Там было: РОДИНА, СОВЕСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ и другие такие же слова.

Я прошел по коридору и остановился перед дверью, не решаясь войти. И внезапно я резко остановился: безопасности, о которой я мечтал там, в холмах, и за которую я готов был отдать свою жизнь, здесь нет. Нет, я понял, что я уже давно это понял: еще там, в самом начале пути, еще, когда я раздумывал и колебался; только позже игра внушила мне иллюзию, что она есть. И вот безопасности не было. Ее не было ни там, ни здесь. Ее не было, несмотря на то, что десантники стояли на ее страже и защищали от посягательств. Не было, и ни толстые стены, ни голубые обои в полосочку, ни рояль с Бетховеном, мне ее дать не могли.

Правила игры были строги, как тогда, в детстве, и, как тогда, только ко мне. И это я тоже понял еще в холмах, только там я еще не знал, что это - ангажированность. Что толку, что я прежде отворачивался от надписей! Жена все равно, наверняка, читала их. Поди, объясни ей теперь эту игру! Это так же невозможно, как невозможно объяснить ей детскую игру в "Мясо". Суть этой игры может понять только тот, кто проиграл.

Да, жена, как всегда, не поверит мне, и, как всегда, будет права, потому что по этим правилам можно выиграть, только грубо их нарушая. В противном случае - проигрываешь. И все это знают, и они договорились так играть.

Я положил руку на ручку двери. Я сделал это осторожно, почти нежно, и все равно - оттуда застрекотало.

.....